

РОМАН ИЗ СОВРЕМЕННОЙ ЖИЗНИ

(Незавершенный замысел)

Предисловие и публикация Ю. П. Б л а г о в о л и н о й

В архиве Брюсова среди многих набросков и незаконченных рукописей прозаических произведений сохранились фрагменты нескольких редакций романа, название которого в сознании автора, по-видимому, окончательно так и не сложилось. Этих названий несколько: «На мировом [рас(путьи)] перепутьи. Роман в четырех частях»; «На мировом перепутьи. Роман из современной жизни»; «Под стеклянным шаром. Записки наблюдателя жизни (нравы предреволюционной поры)»; «Стеклянная башня»; «Стеклянный столп».

Самый поздний вариант заглавия — «Стеклянный столп». Так озаглавлены планы романа, а также самый последний из сохранившихся фрагментов текста.

Время действия первого фрагмента — канун мировой войны (упоминаются «военные приготовления немцев»); в последнем фрагменте это уже «эпоха между двумя войнами и двумя революциями», вторая половина «тягостного десятилетия от седьмого до семнадцатого года»¹. Очевидно, Брюсов начал писать роман не ранее августа 1914 г. и продолжал работать над ним в 1917 г., но не позже, поскольку все сохранившиеся фрагменты написаны по старой орфографии (новая орфография была введена в январе 1918 г., и Брюсов принял ее сразу же). Однако прямых сведений об этой работе или каких-либо определенных упоминаний о ней в переписке Брюсова и в его автобиографических заметках, а также в исследованиях, ему посвященных, нам обнаружить не удалось².

Роман интересен во многих отношениях. По-видимому, он был задуман и частично написан как роман главным образом бытовой, но широкая картина нравов России предреволюционной поры должна была включаться (об этом свидетельствуют и первый, и последний фрагменты) в широкий философский и социально-исторический контекст, смыкаясь с издавна волновавшей Брюсова темой «fin de siècle» — и шире — с проблемой кризиса мировой цивилизации, с проблемой мировой катастрофы.

Первый фрагмент содержит вступление — некую философскую интродукцию, предваряющую начало действия. Это разговор двух «стихийных духов», Алого и Голубого, пролетающих над Землей и уловивших в жизни планеты нечто такое, что предвещает катастрофу, причем это катастрофа не космическая: «Нет никакой кометы в виду, которая могла бы налететь с разбегу и разбить этот ком вдребезги», — говорит Алый. Это и не мировая война, приготовления к которой явственно заметны в Германии: «Военные приготовления немцев не поразили Голубого: кажется, он не это разумел, когда говорил о катастрофе».

Но, очевидно, с темой катастрофы связана возникающая дальше тема преступления: «Я видел: чья-то рука бросила яд в стакан питья, который должен был выпить старик...»

Тут же наступает резкий стилистический слом:

«— Лимончика три молодцу достанется!

— Ну, уж и три миллиона! Преувеличиваете, Марк Маркович!»

Действие переносится в клуб, где идет оживленное обсуждение смерти купца-миллионера, которая во всех сохранившихся редакциях романа составляет его сюжетный центр.

Сюжет романа вкратце таков: отравлен старик, в отравлении подозревают сына, который, однако (читателю это ясно с самого начала), в смерти отца не повинен. Ста-

рика отравила, очевидно, его дочь Анна, которая особенно агрессивно обвиняет брата в убийстве.

На этой сюжетной канве Брюсов разворачивает широкую картину нравов. Одной из самых значительных в авторском замысле становится глава, где обстоятельно излагается история купеческого рода Ходаковых, к которому принадлежат главные персонажи романа³. Глава эта имеет немало «автобиографического» в своей основе. История семьи Твердых во многом повторяет историю семьи Брюсовых. Это Яков Кузьмич Брюсов, как и Илья Твердый, в 60-е годы «сблизился с кружком студентов, стал читать книжки, учиться, даже сам поступил было в Петровскую академию». Это он, «несмотря на возражения деда», пригласил к сыну гувернанток и учителей, отдал его в гимназию, а затем в университет. И это его волей семья Брюсовых, как и семья Твердых, из «замоскворецких» перешла в «интеллигенцию»⁴.

Интерес Брюсова к истории своего рода, которая служит для него отправной точкой в создании бытового фона романа, симптоматичен. До сих пор принято было считать, что этот интерес нашел выход в его художественной прозе лишь однажды — в повести «Обручение Даши», которую критика всегда считала явлением как бы случайным и для Брюсова-прозаика нехарактерным. Д. Е. Максимов замечает, что эту реалистическую повесть из жизни людей 60-х годов Брюсов «написал в виде опыта» (Максимов 1969, стр. 198). Повесть действительно представляет собой пробу пера в новой для Брюсова повествовательной реалистической манере.

Этот опыт был продолжен в романе «Стеклянный столп», построенном почти целиком на материале реальных жизненных наблюдений. Например, один из планов романа свидетельствует, что для Брюсова были важны прототипы: рядом с фамилией Медведникова он ставит в скобках добавление «(= Гиришман)», а его молодая жена Гликерия Павловна обозначается как « $1/2$ Генриетты»⁵ (см. стр. 163). Прообразом кружков, обществ и клубов, подробно описанных в романе, послужил, вероятно, в известной степени Московский литературно-художественный кружок, нравы которого были так близко знакомы Брюсову, многолетнему его председателю (см. настоящ. том, стр. 33)⁶. Ветхозаветный быт купеческой семьи, знакомый Брюсову с детства, послужил материалом для изображения семейного уклада Ходаковых. В целом же основной картины нравов, нарисованной в романе, является русская действительность 1910-х годов⁷.

Но если художественная задача «Обручения Даши» былописательством в общем исчерпывалась, то «Стеклянный столп», как уже говорилось, по замыслу гораздо шире. В нем намечены многие проблемы, волновавшие Брюсова-художника: это и угроза мировой катастрофы, и тема «преступления и наказания», и проблема нищевства, данная в упрощенном восприятии героя-подростка, и образ ученого, смелые замыслы которого не могут воплотиться в жизнь из-за неповиновения и отсутствия поддержки окружающих. При этом последний из сохранившихся фрагментов свидетельствует о том, что с годами замысел Брюсова расширился и усложнился: роман нравов превращался в роман социально-исторический, характеризующий «эпоху между двумя войнами и двумя революциями».

Быть может, именно эта многоплановость романа была причиной того, что он остался незавершенным: по-видимому, Брюсову так и не удалось найти единое стилевое решение, в котором воплотилось бы столь разнообразное содержание. «Историческая, повествовательная»⁸ манера изложения, уместная в главах правоописательных, явно вступала в противоречие с той манерой, в которой написаны главы «психологические» (например, разговор Федора с Анной — см. стр. 147). В тех фрагментах, которые сохранились в архиве, роман стилистически очень разнороден — и не оставляет впечатления органичности и целостности.

Ассоциации, вызываемые романом, уводят нас, с одной стороны, к юношеским тетрадям Брюсова 1880—1890-х годов (например, рассказ «Борьба», где впервые возникает проблема нравственного права незаурядной личности утвердить себя в жизни любой ценой, даже ценой преступления⁹), а с другой — соприкасаются с проблематикой творчества зрелого Брюсова (например, сборник рассказов «Ночи и дни», с его попыткой всмотреться в особенности психологии женской души»¹⁰, и чаще всего души

преступной: драма «Пирозэнт», где крупный ученый, конструирующий межпланетный корабль, во имя достижения своей цели вынужден идти на преступление ¹¹; повесть «Моцарт», где поставлена проблема нравственной ответственности человека перед окружающими ¹², — и многое другое).

Идейно-художественная проблематика романа может быть осмыслена лишь в контексте всего творчества Брюсова, и сколько-нибудь подробный ее анализ в нашем кратком предисловии не может быть дан. Но введение в научный оборот этого произведения, долгие годы остававшегося вне поля зрения исследователей, есть задача насущно необходимая.

Материалы романа заложены в обложку, на которой рукой И. М. Брюсовой число страниц обозначено как «150 с лишним». Однако налицо только 44 листа, из которых исписано 57 страниц (остальные обороты листов остались чистыми). Но даже если предположить, что И. М. Брюсова считала страницы независимо от того, заполнены они или нет, то и это составит всего 88 страниц. Возможно, что какие-то куски текста были ею кому-то подарены и со временем обнаружатся в частных коллекциях. Но возможно также, что в обложку по ошибке были заложены листы, к роману отношения не имевшие и затем переложенные без соответствующего исправления надписи на обложке.

Сохранилось десять фрагментов, восходящих, как нам кажется, к различным редакциям романа, а также планы и рабочие материалы (родословные таблицы семьи Ходаковых, чертежи расположения комнат в их доме). Первый и два последних фрагмента представляют собой совершенно самостоятельные редакции, и с другими фрагментами автор их никак не соотносит. Остальные семь фрагментов Брюсов, видимо, пытался свести в некий единый текст, каждый из кусков которого соответствует тому или иному пункту плана, образуя в результате определенное сюжетное единство. Однако эта работа не была доведена до конца.

Планы романа сохранились в трех вариантах. Они записаны на одном листе (ГБЛ, ф. 386.35.26, л. 29), и последовательность их определяется по расположению (стр. 163—164). Именно эти планы могут служить до некоторой степени ориентиром в определении последовательности редакций текста.

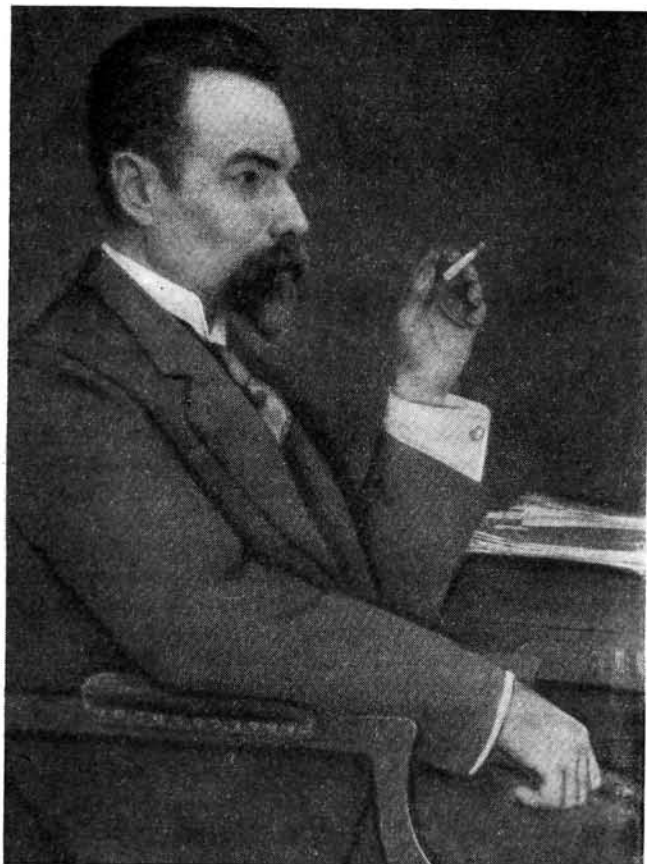
Ниже дается описание всех фрагментов романа, сохранившихся в архиве Брюсова ¹³. Цель описания — установить их хронологическую и сюжетную последовательность, определить их соотношение между собой и проследить, по возможности, развитие авторского замысла от первой редакции к последней.

Фрагмент I. «На мировом [рас<путы>] перепутьи. Роман в четырех частях. Часть первая. Отцеубийца. Глава первая. Три миллиона» (35.37, л. 1—10). Черновой автограф; написан на бумаге, которая появляется в рукописях Брюсова 1910-х годов и к 1915 г. почти совсем исчезает. На бумажной обложке, в которую вложен автограф, — другое заглавие (рукой Брюсова): «На мировом перепутьи. Роман из современной жизни. Часть первая».

Фрагмент представляет законченную первую главу, которая состоит из двух подглав: I и II. Первая содержит беседу двух «стихийных духов» (см. стр. 114), вторая — сцену в ночном клубе, где становится известно о смерти старика-миллионера.

Последующие главы, соотносимые с этим фрагментом, в архиве Брюсова не обнаружены. В свою очередь, первая часть этой главы никак не соотносится с планами романа. Это позволяет считать данный фрагмент началом наиболее ранней редакции. Брюсов приступил к работе над нею не ранее августа 1914 г. (Петербург здесь уже назван Петроградом), однако более вероятно, что эта редакция относится к осени 1915 г., так как обложка, на которой написано второе заглавие, сделана не ранее этого времени (Брюсов использовал для нее лист бумаги из материалов к сборнику «Поэзия Арменин» ¹⁴, над которым начал работать в августе 1915 г.).

Эта редакция представляется нам самой ранней не только потому, что остальные фрагменты написаны на бумаге более позднего происхождения. Она явно предваряет последующую разработку текста. В качестве иллюстрации приведем из *фрагментов I и III* характеристики персонажа, сообщающего в клубе о смерти старика:



БРЮСОВ

Фотография. Москва, 1910-е годы
Мемориальный кабинет Брюсова, Москва

«О трех лимончиках сообщал Тимолкин, господин неопределенных лет, бритый, как актер, в небрежном пиджаке, один из тех людей, которые все и обо всем знают» (Фр. I).

«Петр Петрович Краснов — человек, не знавший в жизни иного дела, кроме карт, но замечательный еще тем, что все, совершающееся в Москве, было ему известно, как дела своего дома. Бывают такие люди, которые со всеми знакомы, осведомлены обо всех отношениях — кто, когда, где и что и, в особенности, с точностью знают, у кого сколько денег в деле, в банке, на текущем счету и чуть ли не в бумажнике, лежащем в левом кармане пиджака» (Фр. III).

«Вторичность», т. е. большая разработанность и стилистическая завершенность фрагмента III не вызывает сомнения.

Таким образом, первая редакция устанавливается довольно точно. Ввиду недостаточной ее разработанности и ввиду того, что Брюсов совсем не использовал ее в дальнейшей работе, эта редакция в данной публикации не воспроизводится.

Фрагмент II. «Глава [VI.] II. 1. Дом Ходаковых делился как бы на две партии ∞ когда произошла катастрофа» (35.26, л. 8—15; стр. 134—140). Черновой автограф с авторской пагинацией листов: «2—8» (первый лист не нумерован).

Зачеркнутая цифра «VI» свидетельствует, что глава была написана в соответствии с первым вариантом плана и, следовательно, относится к одной из ранних редакций — по всей вероятности, ко второй. Авторская пагинация позволяет предположить, что эту

главу, особенно занимавшую его внимание, Брюсов написал раньше предыдущих (иначе нумерация листов была бы продолжающейся), и вполне возможно, что главы I—V этой редакции вообще не были написаны. Затем Брюсов решил писать роман в соответствии с третьим вариантом плана («Глава II. 1. Дом Ходаковых») и включил в него написанный фрагмент уже как первый раздел главы II.

Фрагмент III. «Было рано; большая игра еще не начиналась ∞ Идеже несть страсти, печали и вздыхания, но жизнь вечная...» (35.26, л. 1—7; стр. 121—133). Черновой автограф с авторской нумерацией страниц: «103—116». Начиная с л. 2 об., в тексте обозначены номера разделов — «3», «4», «5», «6». Первые страницы, по-видимому, утеряны, так как раздел первый и начало второго отсутствуют.

Этот фрагмент соответствует построению первой главы по третьему варианту плана. Отсутствием является только указание на предполагавшийся, но, видимо, не написанный раздел седьмой (цифра «7» в конце последнего листа).

Авторская нумерация страниц этого фрагмента является загадкой. Предположить, что утерянное начало растянулось на 100 страниц, тогда как остальной текст занимает всего 14 страниц, невозможно. Кроме того, ни в одном из вариантов плана нет темы, разработка которой потребовала бы такого объема. Возможно, что со временем обнаружатся какие-то новые фрагменты, которые помогут разрешить эту загадку.

Можно полагать, что этот фрагмент является началом (главой I) еще одной — третьей редакции романа. К ней были присоединены: *фрагмент II* (в качестве первого раздела главы II) и ряд последующих *фрагментов (IV—VII)*.

Фрагмент IV. «Глава (номер не указан.— Ю. Б.). Федор Васильевич предпочитал не держать постоянного лакея ∞ Лицо Кромчеделова выразило такое» (35.26, л. 16—17; стр. 141—142). Черновой автограф с авторской пагинацией («9—10»), продолжающей нумерацию страниц *фрагмента II*. Глава не закончена — текст обрывается на половине фразы, лист до конца не дописан.

По содержанию продолжает *фрагмент II* и соответствует первому варианту плана («VII. Панихида <...>») и третьему («Глава II <...> 2. Панихида»). Судя по бумаге, цвету чернил и нумерации страниц, относится к той же второй редакции, что и *фрагмент II*.

Следующие четыре фрагмента (V—VII) носят разрозненный характер и установить их принадлежность к какой-либо определенной редакции и последовательность их создания не представляется возможным.

Фрагмент V. «Х. Федор не мог выносить долее этой нравственной пытки ∞ «чуткая цензура» быстро стесняла «в журнальных выходах балагура» (35.26, л. 18—19; стр. 142—147). Черновой автограф с авторской нумерацией страниц: «11—13».

Соответствует первому варианту плана («Глава VII <...> В саду: Фео и Ани») и третьему («Глава II <...> 4. Леонид и (его друг) Вадим»), но лишь отчасти: действие происходит в саду, однако вторым действующим лицом является не Анна, а Ирина; затем следует беседа не двух, а трех приятелей. Нумерация глав («X», «XI», «XII») не соответствует ни планам романа, ни другим фрагментам; глава XII не завершена.

Фрагмент VI. «В невольном порыве он обнял ее и поцеловал ∞ Хотелось поскорее ото всех спрятаться, броситься на кушетку, закрыть глаза и не думать ни об чем, позабыть события последних суток» (35.26, л. 22—23; стр. 147—150). Черновой автограф с авторской нумерацией страниц: «12-I—12-IV».

По содержанию соответствует всем трем вариантам плана (гл. VII — в первом, гл. III — во втором, гл. II, раздел 3 — в третьем).

По-видимому, эти страницы, изъятые из неизвестного нам текста, были предназначены для вставки в *фрагмент V* (на стр. 12 по авторской пагинации). Это соответствует общей логике развития сюжета, однако в тексте *фрагмента V* нет места, куда такая вставка могла бы войти органически.

Фрагмент VII. «В каждой газете читались более или менее сенсационные заголовки ∞ опутывая Федора какой-то сетью низких подозрений и намеков...» (35.26, л. 20—21; стр. 151—155). Черновой автограф с авторской пагинацией: «14—17».

По этой пагинации и по содержанию примыкает к *фрагменту V*, однако не является его продолжением, т. к. написан на другой бумаге.

Фрагмент VIII. «Дома Федор почувствовал такую духовную усталость ∞ Она говорила, она» (35.26, л. 24—25). Черновой автограф с авторской пагинацией: «а1 — а4». Текст обрывается на полупhrазе.

Содержит сцену ночного свидания Федора с Ириной, во всех вариантах плана отсутствующую. Ни в один из сохранившихся фрагментов эта сцена не вписывается и, по-видимому, предназначалась (судя по авторской пагинации) для вставки в какой-то несохранившийся фрагмент. Ввиду его обособленности, *фрагмент VIII* в настоящей публикации не воспроизводится.

Фрагмент IX. «Под стеклянным шаром. Записки наблюдателя жизни (нравы пред-революционной перы)» (35.26, л. 27—34 об.; стр. 155—161). Беловой автограф. Представляет собой совершенно самостоятельную редакцию начала романа, написанную в форме дневника одного из родственников Ходакова. Судя по заглавию, Брюсов работал над ней в 1917 г.

Прямого соответствия планам эта редакция не имеет, но общая схема сюжета остается прежней (известие о смерти Ходакова и подозрения в убийстве, падающие на его сына), а сцена на панихиде, когда одна из дам не желает подать руки Федору, почти полностью аналогична соответствующей сцене из *фрагмента III*. На этой сцене *фрагмент IX* обрывается, но лист до конца не дописан и можно полагать, что продолжения просто не было.

Фрагмент X. «[Стеклянн[ая]ый [башня] столп. Часть первая. Глава I» (35.26, л. 35—36; стр. 161—163). Беловой автограф; вторая страница не дописана.

Представляет собой самостоятельную редакцию начала романа — вступление, рисующее картину безвременья в эпоху «между двумя войнами и двумя революциями». Судя по содержанию, Брюсов работал над этим фрагментом в 1917 г.

Таким образом, устанавливается предположительно наличие не менее пяти редакций романа, которые, по всей вероятности, имеют такую последовательность:

Первая редакция — *фрагмент I*.

Вторая редакция — *фрагмент II и IV*.

Третья редакция — *фрагмент III*.

Четвертая редакция — *фрагмент IX*.

Пятая редакция — *фрагмент X*.

Кроме того, мы располагаем тремя разрозненными *фрагментами* (V—VII), сюжетно развивающими третью редакцию, в которую автор, по-видимому, намеревался их включить. К ней, вероятно, предполагалось присоединить и фрагменты второй редакции (II и IV), также сюжетно с ней связанные.

Таким образом, *фрагменты III, II и IV—VII* связаны единым замыслом и общим сюжетным развитием. Этим мы и руководствовались, устанавливая последовательность их публикации. *Фрагменты IX и X*, относящиеся к более поздним редакциям, публикуются в конце. *Фрагменты I и VIII*, как уже было сказано, в публикацию не включены.

Роман не только не закончен, но не отделан даже внутри каждой из самостоятельных редакций. Так, например, старик Ходаков первые три раза назван Ходотовым, и эта ошибка не исправлена Брюсовым, т. е. на одном листе (35.26, л. 1—1 об.) герой назван двумя разными фамилиями. Мать Ирины в двух соседствующих абзацах названа сначала Ксенией, а потом Евгенией (л. 11) — и это тоже оставлено без исправления. Таких примеров множество (Людмила называется Генриеттой, Грабовецкий вдруг неожиданно для читателя становится Грабовским, Анна — Еленой и т. п.). Все эти несообразности в публикации сохраняются и никак не оговариваются, ибо черновой, «предварительный» характер текста публикуемого романа самоочевиден и в излишних назойливых оговорках, на наш взгляд, не нуждается.

Большая часть текста представляет собой черновой автограф и прочитывается с трудом. Слова, как это обычно бывает в черновиках Брюсова, сокращены, не дописаны, зачеркнуты, вписаны между строк и т. п.

Исчерпывающего воспроизведения стилистических особенностей автографа наша публикация не дает. Из зачеркиваний восстанавливаются и приводятся под строкой лишь те, которые несут в себе оттенок смысла, в результате правки исчезнувший. На-

пример, во фразе: «Краснов невольно как-то съезжился. но не потерял апломба [т. к. был не труслив] и возразил насмешливо», — слова «т. к. был не труслив» зачеркнуты Брюсовым и приводятся в публикации под строкой. Но далее в той же фразе глагол был повторен трижды: «[и возразил] [спросил] и возразил». Из этих трех глаголов оставлен только третий, не зачеркнутый. Если из двух синонимов один, зачеркнутый, как-то экспрессивно окрашен («почему вы так [вспетушились] вскинулись?»), он приводится под строкой, если же стилистически нейтрален, он, как правило, опускается и наличие его в авторском тексте никак не оговаривается. Например, в предложении: «это не мешало им [официально] формально даже не быть представленными друг другу», — слово «официально» опущено без всяких оговорок.

Недописанные части слова заключаются в ломаные скобки только в том случае, если в точности конъектуры мы сомневаемся. Если же в точном прочтении слова сомнений не возникает, оно дописывается без всяких оговорок. Например, в предложении: «Краснов сообщ(ал) известие сенсационное, наст(олько) пораз(ительное), что многие из др(угих) групп, услышав его слова, поспешили подойти поближе» — ломаные скобки сохраняются только в слове «сообщал», так как возможно и прочтение «сообщил». Точно так же и с фамилиями. Пока старик Ходаков назывался Ходотовым, фамилия его раскрывается с ломаными скобками: Ход(отов). Но как только он стал единообразно по всему тексту именоваться Ходаков, то и дописываться его фамилия стала уже без всяких указаний на неполное написание слова.

Явные опiski автора исправлены в тексте без оговорок. Текст публикуется по правилам современной орфографии и пунктуации.

П Р И М Е Ч А Н И Я

¹ См. наст. том, стр. 161. Далее ссылки на страницы нашей публикации даются в тексте предисловия без указания на источник.

² В письмах Брюсова к жене за 1915 г. (ГБЛ, ф. 386.142.19—20; 69.7—8) и в «Дневнике поэта» (1917 г.; см. наст. том, стр. 29) есть упоминания о работе над романом, название которого не указано. В 1910-е годы Брюсов работал также над романом «Юпитер поверженный». Установить, к какому из этих романов относятся эти упоминания, не представляется возможным.

³ Эту главу Брюсов обдумывал особенно тщательно, о чем свидетельствуют подготовительные материалы к роману: подробнейшие родословные таблицы семьи Ходаковых и детально вычерченные планы расположения комнат в их доме (см. наст. том, стр. 133, 139).

⁴ Интересные архивные материалы, раскрывающие историю купеческой семьи Брюсовых, переданы сестрой В. Я. Брюсова Е. Я. Калужной в ГБЛ.

⁵ Т. е. Генриетта Леопольдовна Гиришман (см. о ней наст. том, стр. 34)

⁶ «Общество телескопов» тоже имеет свой «прототип» — московское «Общество аквариума и комнатных растений».

⁷ Об эволюции эстетических взглядов Брюсова 1910-х годов, приведшей к утверждению, что «начало всякого искусства — наблюдение действительности», — см.: Максимов 1969, стр. 187—189 и далее.

⁸ На полях первой страницы главы, посвященной истории рода Ходаковых, рукой Брюсова написано: «Изложить исторически, повествовательно» (ГБЛ, ф. 386.35.26, л. 8).

⁹ Этот рассказ и ряд других юношеских набросков Брюсова интересны не только как истоки темы преступления и наказания в творчестве писателя, но и как прямые «прототипы» отроческих сочинений («мальчишеских глупостей») героя романа — Федора Ходакова, которые служат для его сестры основным аргументом в доказательстве его виновности (см. стр. 147): «Яд! У меня есть добойя, есть кураре, есть синильная кислота, — рассуждает, например, герой рассказа «Борьба». — (...) Как жалки, смешны люди со своими угрызениями совести! Чувствовать что-нибудь подобное я не могу (...) Счастья не вырвать у меня из рук. Дядя умер, и оно мое!» (ГБЛ, ф. 386.126.1).

¹⁰ Валерий Брюсов. Ночи и дни. М., 1913. Предисловие.

¹¹ ГБЛ, ф. 386. 29. 1—9.

¹² ГБЛ, ф. 386. 35. 5—9.

¹³ ГБЛ, ф. 386. 35. 26 и 35. 37. Далее ссылки на этот источник даются в тексте статьи, при этом первая часть шифра (ГБЛ, ф. 386) опускается.

¹⁴ На обороте обложки — машинописный заголовок: «Ануш. Поэма Туманяна».

*Было рано; большая игра еще не начиналась. Устав Собрания разрешал играть без «штрафа», уплатив лишь по 3 р. за «карты», с 8 часов вечера до 2 часов ночи. После следовал, согласно с «нормальным уставом» всех клубов, штраф за каждые $\frac{1}{2}$ часа, в 30 к., 90 к., 1 р. 20 к. и т. д., заканчиваясь штрафом в 38 р. 10 к. для уходящих из игорных зал после 6 часов утра... Словно в насмешку над этими правилами, игроки редко садились за «круглые столы» раньше полночи, «большая игра», игра с «пулькой», большей частью, начиналась лишь около 2, перед самым началом уже штрафного времени, и завсегдатаи Общества, каждый, ежедневно, уходя, платил — или оставался должен кассе — свою привычную дань: четыре десятирублевых бумажки, требовать сдачи с которых считалось неприлично... Неудивительно, что доход Общества редко был меньше <?> 2—3 тысячи рублей в день, и четыре главных «старшины» — в сущности, содержатели притона — весело потирая руки, тоже ежедневно клали в карман несколько сотенных бумажек и, со вздохом, оставляли остальное на необходимые расходы.

В начале первого был занят только один круглый стол, за которым разместились преимущественно дамы. Тут шла мелкая «серебряная» игра, т. е. не брезгали ставками и монетою <не> золотую, меньше 5 р. Обороты здесь ограничивались десятками рублей, и выигрыш в несколько сот составлял событие. В гостиних играли в винт и в преферанс, кто «по маленькой», а кто и по столу «крупной» и с такими условиями игры — разными «винтами», «гайками», «скачками» <?> «разницами» <?> и тому подобным, что она, в сущности, ничем не отличалась от любой азартной. Но крупные игроки в железку, гнушаясь «серебряного стола», пренебрегали и коммерческими играми, в которые результата надо было ждать слишком долго, а поджидали своих обычных партнеров, чтобы составить «золотой стол» и стол «с пулей», где закладывали в банк тысячи и где, при удаче, в несколько минут можно было загрести десят<ки> тысяч, а за ночь выиграть целое состояние. В ожидании этого рыцарского зеленого поля вели свои беседы; «Общество Люб<ителей>» было не только игорным домом: оно, д<ействительно>, выполняло и функции клуба, так как здесь сходились все темные дельцы Москвы, чтобы узнать друг от друга новости дня, и все московские «дисконтеры», как они сами себя именовали, или «биржевые зайцы» и «биржевые волки», как их называли другие, чтобы подготовить «кулису» завтрашней биржи.

Одна группа оживленно обсуждала последние котировки, и там слышались привычные восклицания: «Нобель», «Сормово», «дают», «берут», «валяются», «на повышение» и т. д. В другой группе, чуть не шопотом, совещались трое сомнительного вида мужчин, которые явно не желали, чтобы кто-нибудь расслышал их конфиденциаль<ные> сообщени<я>. В третьей, самой многочисленной группе, ораторствовал громко один из самых рьяных <?> игроков, Петр Петрович Краснов — человек, не знавший в жизни иного дела, кроме карт, но замечательный еще тем, что всё, совершающееся в Москве, было ему известно, как дела своего дома. Бывают такие люди, которые со всеми знакомы, осведомлены обо всех отношениях — кто, когда, где и что, и, в особенности, с точностью знают, у кого сколько денег в деле, в банке, на текущем счету и чуть ли не в бумажнике, лежащем сегодня в левом кармане пиджака.

Краснов сообщ<ал> известие сенсационное, настолько поразительное, что многие из других групп, услышав его слова, поспешили подойти ближе. Один из таких любопытствующих даже переспросил:

— Ходотов умер? Василий Тимофеевич?

— Да, господа! — подтвердил всезнающий Петр Петрович, — умер Василий Тимофеевич Ходотов, скоропостижно, часа два тому назад.

— Но это же невероятно <?>, — возразил подошедший, — я сегодня имел с ним дело (в этих словах был оттенок хвастовства, ибо лестно иметь дело с архимиллионером), в два часа дня старик был совершенно здоров, крепок, как дуб. Я думал, он нас с вами переживет.

— В два часа был крепок, как дуб, — ответил Краснов, — вечером пообедал, потом имел беседу с сыном, Федором Васильевичем, разгневался, разволновался, слег и в 11 часов ночи отдал богу душу.

Окружающие восклицаниями выражали свое изумление.

— Экое дерево рухнуло, — сказал кто-то, — у старика давно за 5 миллионов перевалило.

— Извините-с, — поправил <?> Краснов, — наличного капитала у Ход<о>това >свыше шести миллионов, в деле основного капитала миллион двести имел; фабрик<а> с землей, со всеми машинами — minimum полтора миллиона; товару с моск<ов>ских> складов <?>, по последнему счету, на четыреста тысяч; дом в Таганке, по нашим <?> ценам, не считая мебели и всей рухляди, мало-мало двести пятьдесят тысяч; да тысяч пятьдесят — дача в Сокольниках. Вот и складывайте.

— Вы насчитали, — быстро <?> сложил один еврей, — вы насчитали девять миллионов четыреста тысяч.

— Я еще много пропустил. < 1 нрзб> десять миллионов и то будет ниже действительности.

Наступила пауза, — словно цифра в 10.000.000 подавила всех своей громадностью.

— Отчего же он умер? — деловито спросил кто-то.

Краснов без малейшего промедления мог удовлетворить любопытство.

— Сегодня у него обедал сын, Федор Васильевич. Вы знаете, что Ходаков в ссоре с сыном; тот живет отдельно, но все же бывает в отцовском доме и иногда обедает с семьей. Сегодня после обеда старик позвал Федора к себе в кабинет. Им туда подали кофе, так как старик, хотя был и ветхозаветных правил, но к кофею пристрастился. За кофе старик стал что-то сыну доказывать; тот не соглашался. Вышла ссора. Старик начал кричать: «А коли так, с глаз долой, вон из дома и лишаю тебя наследства!» Федор взял шляпу и ушел. А старик залпом проглотил чашку кофе, чтобы успокоиться, сразу почувствовал себя плохо и слег. Началась рвота, и к ночи, только что <?>, старика не стало.

— Позвольте! Ведь это же черт знает что вы говорите!

Эти слова были произнесены так резко, что все невольно оглянулись: говорил один из завсегдатаев Собраний, молодой человек неопределенной профессии, Владислав Грабовецкий. В Собрании необычным явлением был голос искреннего негодования; все так привыкли спокойно выслушивать любые гнусности и инсинуации, что теперь смотрели <на> Грабовецкого с истинным изумлением. Краснов невольно как-то съежился, но не потерял апломба* и возразил насмешливо:**

— А позвольте вас спросить, почему вы так*** вскинулись? Я, знаете, не привык к подобным замечаниям.

— Да вы понимаете, что вы говорите?

— Во-первых, я даже не имею чести быть с вами знаком и обращался не к вам...

Краснов и Грабовецкий много вечеров играли за одним столом, но это не мешало им формально действительно не быть представленными друг другу.

* Далее зачеркнуто: т. к. был не труслив

** Далее зачеркнуто: — Что же, собственно <?> вас так изумило, что вы

*** Далее зачеркнуто: вспугнулись

— Мне все равно, к кому вы обращались,— не понижая тона продолжал Грабовецкий,— а только в ваших словах есть клевета. Вы обвиняете молодого Ход(акова) не более не менее как в том, что он мог отравить отца! Я лично знаком с Федором Васильевичем и не позволю инсинуировать на его счет в моем присутствии.

Краснов хорошо владел собою, как и должно всем игрокам, и потому, не волнуясь (?), но твердо отвечал:

— Никого ни в чем я не обвиняю и обвинять не имею ни права, ни оснований. Передавал я то, что мне самому рассказывали. А вас я попрошу взять ваши слова обратно-с. Я не позволю говорить с собой в таком тоне.

Началась ссора. Присутствующие вмешались, спеша ее потушить. Уже на месте события был «дежурный старшина», юркий и изворотливый Устимович, который перебегал от одного из противников к другому, убеждая их успокоиться. Всякий скандал в благородном собрании угрожал самому его бытию, и первой задачей дежурного старшины было погасить всякие недоразумения в самом их зародыше.

На этот раз дело оказалось труднее, чем обыкновенно. Краснов требовал непременно, чтобы Грабовецкий извинился за свои выражения; поляк и слышать об этом не хотел. Наконец, Устимовичу удалось увлечь их за собой в кабинет дежурного старшины, где (он) продолж(ал) свои великодушные старания примирить ссорящихся. Между тем оставшиеся продолжали вполголоса обсуждать и инцидент, и известие, привезенное Красновым. Кончина старика-миллионера была огромным событием в жизни Москвы. Все знали или лично Ходакова или, по крайней мере, его дело. Говорили тоже о Федоре Васильевиче и о странном подозрении, брошенном Красновым. Однако скоро (?) [подъехали новые] посетители, стали составляться «столы», и скоро все позабыл(ось) за жутким волнением игры, и слышались только иератические восклицания:

— Даю! — Своя! — En carte! — D'emblée!* — Получите!..

3

В кабинете дежурного старшины, как и ожидал многоопытный "Устимович, противники быстро пошли на уступки. Краснов согласился признать, что неосторожно передавал непроверенные слухи, а Грабовецкий после того выразил что-то вроде извинения или сожаления в резкости своих слов. Устимович разорвал «протокол», который для вида начал было составлять, и «дело» было покончено. Краснов и Грабовецкий не подали друг другу руки, но это, конечно, не помешало бы им тут же сесть за тот же стол,— таких примеров бывало достаточно,— если бы молодой поляк тотчас по окончании переговоров не уехал из Собрания. Грабовецкий внезапно решил разыскать Федора Ходакова, так как действительно был с ним знаком,— познакомились в те дни, года три назад, когда Федор был усердным посетителем всяких кабаков и притонов.

Поспешно выйдя из подъезда с электрической дыней, Грабовецкий кликнул «своего» извозчика, лихо подкатившего к крыльцу и словно заправский кучер спросившего, сняв шапку:

— Куда прикажете, ваше сиятельство?

Грабовецкий знал, где разыскать Федора: в этот день было заседание Общества любителей телескопов, которое усердно посещал молодой Ходаков. Гнедой мерин тряхнул хвостом и полетел по пустеющим улицам, обдавая фонтаном грязи неосторожных прохожих. «Чтой-то там не бывали допрежь,— соображал лихач, обдумывая адрес, который ему назвал

* На карту! Сразу! (франц.).

Грабовецкий*, — или там новое заведение открылось, или мой новую себе сударышню нашел: разведем!»

В Собрании тем временем игра разгоралась; ставки росли; одни игроки бледнели, вынимая последние пятисотенные, другие с трудом подавляли выражение ликования, записывая по всем карманам пачки крупных кредиток. Однако каждому вновь прибывающему, который временно становился сзади играющих, чтобы «мазать» «со стороны», шопотом сообщалось о смерти старика Ходакова. Скоро «вся Москва», по крайней мере ** биржевая, знала о событии, и завтрашним газетам предстояло сообщить уже устарелое известие.

Был, однако, один человек, весьма близко стоявший к событию, который об нем совершенно не был осведомлен, и это — сам Фе[о]дор Васильевич Ходаков. Он, действительно, обедал в тот день в старом отцовском доме, на Таганке, из которого ушел часа полтора назад, и, действительно, имел тяжелую сцену с отцом. Спор шел по тому самому вопросу, который разделил отца с сыном. Стар<ик> Ходаков, наживший миллионы своими мануфактурами, желал передать фабрики и все дело единственному сыну Федору***, но Федор чувствовал неодолимое отвращение ко всякой коммерции. Разные обстоятельства, о которых еще будет сказано потом, сделали так, что Федор получил прекрасное образование, кончил курс Университета по математическому отделению, побывал за границей, учился в Лейпциге**** и с наивным энтузиазмом молодости увлекался астрономией. По мнению Федора, 10 миллионов отца было более чем достаточно для того, чтобы и он, и отец, и вся их семья могли доживать свой век в полном довольстве. Поэтому Федор упрямо отказывался принять наследство отца, предлагал дело ликвидировать и просил, чтобы отец позволил ему на досуге отдаться своему любимому делу. Дело же это было какое-то фантастическое изобретение, о котором никто в точности не знал ничего определенного, но которое сам Федор считал не менее важным для человечества, чем открытия Коперника и Колумба. Молодость не рассуждает, молодость упорна и отважна; да Феодор вдобавок наследовал крутой нрав всех Ходаковых. Другой на месте Феодора ради перспективы в 10.000.000, в<ероятно>, уступил бы отцу, принял бы для видимости дело, тем более, что старику Ходакову было уже за 70 и жить ему оставалось во всяком случае не так долго. Но Федор поставил вопрос ребром: «Не могу и не хочу заниматься вашим делом, папаша, я неспособен к нему, все равно все погублю!» Отец сначала (?) <2 нрзб>, потом пришел в ярость, грозил лишить сына наследства, передать все своему старшему приказчику, продвинутому малому Сусурову; Федор ушел из отцовского дома, поселился отдельно, получая, однако, от отца по тысяче рублей в месяц и бывая в старом Таганском доме. Но отношения все напрягались, ссоры с отцом становились всё жесточе, и, наконец, разразилась катастрофа. Стар<ик> Ходаков окончательно вышел из себя, почти (?) форменно выгнал Федора и кричал ему вслед:

— Нет у меня больше сына! Чтоб ноги твоей здесь не было! Всё раздам по монастырям! Копейки не получишь! Вон!

Федор выбежал на улицу подавленный. Несколько минут он колебался, не вернуться ли, не уступить ли... Но гордость превозмогла. Тряхнув головой, он зашагал прочь и был в таком волнении, что не заметил, как пешком прошел весь не близкий путь от Таганки до своей квартиры в Малом Кисельном. Только у подъезда дома, где он жил, Федор несколько

* Далее зачеркнуто: али

** Далее зачеркнуто: деловая

*** Далее зачеркнуто: А Федор воспитанный в новом

**** Над словом «Лейпциг» знак вопроса, поставленный Брюсовым.

Г. Л. ГИРШМАН

Рисунок В. А. Серова. Карандаш.
1900-е годы

Третьяковская галерея, Москва

В плане романа против имени
Гликерии Медведниковой (в тексте
она — Людмила Бучугина) помета
Брюсова: «1/2 Генриетты»



опомнился. Было еще рано, часов 8 вечера; Федор вспомнил, что за ним хотел заехать один из его приятелей, Чиличенко, чтобы ехать вместе на заседание Общества телескопов. Но Федору не хотелось пока видеть никого; крадучись, пробрался он к себе, наскоро переоделся и опять выбежал на улицу, оставив извинительную записку для своего друга.

И потом часа два* Федор продолжал бесцельно бродить по улицам, обдумывая свое положение. Зажигались вечерние фонари и ночные звезды в небе, быстро проносились трамваи, обдавая синим блеском, яростно вонзали белые огни авто, вырывавшиеся с неимоверной быстротой, чтобы вдруг исчезнуть, катили экипажи, шли пешеходы, порой бульварные феи окликались робко: «Мужчина! Пойдемте?» — Феодор ничего не замечал, он шел по каким-то улицам и переулкам, доходил до застав, поворачивал назад, останавливался у блестящих витрин, иногда садился на скамейки в сквере; душа была подавлена; мысль отказаться от богатства отца угнетала его, но уступить не было сил. В общем в душе была горечь, злоба, не то раскаянье, не то желание мести, то нестерпимо-тоскливое чувство, которое сопровождает нас, когда мы соверш(ае)м поступ(ок) непоправим(ый)... Федор с удовольствием не пошел бы на собрание Общества, так как видеть людей ему было нестерпимо; но пойти было необходимо, так как в этот вечер он назначил там свидание с той, кого Федор любил или кого, как ему казалось, что он любил: с Людмилой Павловной** Бучугиной, котор(ая) не даром считал(ась) «первой красавицей» Москвы, по крайней мере в кругах haute bourgeoisie. Федор знал, что Людмиле нелегко будет добиться от своего мужа разрешения приехать в Общество, и потому на это свидание прийти было необходимо...

Федор посмотрел на часы: было ровно 11 — самое время идти в Собра-

* Далее зачеркнуто: или три

** Далее зачеркнуто: Хренниковой

ние. Сделав над собой усилие, подавив волнение, Феодор направился на Неглинную, где Общество телескопов снимало роскошную квартиру для своих аквариумов и для своих вечеров.

4 *

Федор не ошибался, когда думал, что Людмиле будет не легко попасть на назначенное свидание.

В то время как Федор Ходаков бесцельно бродил по улицам, Кирилл Кузьмич** Бучугин, муж Людмилы, имел конфиденциальную беседу со своим шофером. Хренников сидел в своем кабинете, выдержанном строго в стиле епρίге (так как в доме каждая комната была словно лавкой антиквара), за великолепным столом красного дерева с бронзовыми веночками, а шофер почтительно стоял у порога и тихим голосом делал свой обычный, каждодневный доклад. Кирилл Кузьмич время от времени сурово окидывал говорящего взглядом разгневанной рыбы и лаконически подталкивал его одним словом:

— Потом?

— А потом, Кирилл Владимирович (Бучугин каждый раз как-то морщился, когда шофер называл его по имени-отчеству), барыня изволили мне сказать: «Ты, мол, отправляйся домой, а я хочу погулять пешком».

— Потом?

— Что ж я мог сделать, сами понимаете, ежели барыня мне приказывают...

— Дурак! Сколько раз я вам говорил, что вы не должны оставлять барыню одну!..

Спохватившись, Бучугин добавил:

— Мало ли что может случиться на улице! Вы всегда должны быть поблизости, на всякий случай.

— Я, Кирилл Кузьмич, помню, что вы мне приказывали, и повел машину за барыней, тихим ходом. Но Людмила Павловна изволили заметить, раскричались: Ты что, следить за мной вздумал!— и опять приказали ехать домой.

— Вы поехали?

— А как же-с?

Бучугин даже встал и сделал несколько шагов по комнате. Ему было 50 лет, и ревность, неистовая, слепящая, лишаящая здравого ума, грызла его душу к молодой жене, первой московской красавице, откровенно «купленной» в бедной семье за солидный куш денег. Помолчав, Бучугин отрывисто спросил:

— Долго гуляла барыня?

— Нет-с, только что я доехал до дома, как они уже пешком дошли, почти одновременно со мной, Кирилл Кузьмич.

В этом было некоторое облегчение. После новой паузы Бучугин <1 нрзб>.

— Я поговорю сам с барыней. А вам я еще раз повторяю: вы не имеете права оставлять барыню одну. Я полагаюсь на то, что близ нее всегда находится верный человек, а вы бросаете ее одну на улице.

Шофер поклонился; у него было англазованное лицо и ***выдержка не то**** старого, дворецкого, не то ***** метр д'отеля, но загорелое и обветренное. Глядя прямо в упор на хозяина, он заявил:

* Рядом с цифрой «4» помета Брюсова: «глава неудачная, переделать!»

** Далее зачеркнуто: Хренников

*** Далее зачеркнуто: манеры

**** Далее зачеркнуто: жокея

***** Далее зачеркнуто: английского

— Слушаю-с, Кирилл Кузьмич. Только так как это мою службу увеличивает, дозволейте просить вас увеличить мой оклад-с. Иначе я не могу.

Сказано это было со всей внешней почтительностью, но с последней внутренней наглостью. Смысл слов был ясен: «Ты хочешь, чтобы я служил у тебя шпионом за женой? Согласен, но заплати за это!»

Бучугин был человек дела. Своего шофера он понял сразу и не стал тратить слов даром, еще раз оглядел англизованного юношу и потом бросил кратко:

— Сколько?

— Полтораستا, Кирилл Кузьмич.

— Будете получать сто двадцать пять.

— Не могу, Кирилл Кузьмич.

— Вы желаете получить расчет?

Шофер в свою очередь измерил глазами Бучугина, понял, что тот не уступит, и поклонился.

— Слушаю-с, Кирилл Кузьмич, как вам будет угодно.

— Завтра получите новую расчетную книжку.

У Бучугиных все, и лакеи, и горничные, и повара, служили по книжкам и получали жалованье в конторе под расписку; были даже особые книги для выдачи сахара, кофе, вина и т. д. — целая домашняя бухгалтерия.

Знаком головы Бучугин дал понять, что аудиенция кончена. Шофер выскользнул из дверей кабинета, оставив хозяина под гнетом мрачных дум. В такую неподходящую минуту и попала к нему Людмила — просить позволения ехать на заседание Общества телескопов.

Без разрешения мужа Людмила не могла ступить ни шагу. Бучугин изобрел оригинальный способ отнять у жены все пути к измене: он не давал ей буквально ни копейки денег.

— На что тебе деньги, милочка? — уверял он, — у тебя всё есть. Если ты хочешь что-либо купить, заезжай в магазин, выбери вещь и прикажи прислать счет в контору. Можешь покупать, что хочешь, но все счета должны проходить через мои руки.

В этом пункте Бучугин был неумолим, и Людмиле пришлось подчиниться. Жена миллионера, она не могла бы подать нищему даже грош. В редкие дни, когда ей позволял(ось) выехать из дома без мужа, это создавало тысячу мелких неприятностей.

Просьбу жены Бучугин встретил более чем враждебно.

— Ты знаешь, милочка, мои взгляды, — заявил он, — я считаю, что женщине неприлично выезжать одной.

— Но за мной заедет тетка Фаина Ефимовна...

— Ах, твоя тетка! Она до сих пор мечтает о женихах и на тебя не обращает никакого внимания.

— Да разве за мной надо присматривать, как за младенцем? Ведь это только для соблюдения конвенансов.

— И что тебе делать на этом собрании?

— Помилуй! Я целую неделю сижу дома! Ты всегда занят, мы никуда не выезжаем.

— Ты знаешь, я болен, милочка. Но еще в понедельник мы были в опере.

Начался торг. Людмиле очень не хотелось пускать в ход силы женского кокетства (<?), но более не оставалось ничего делать. Пришлось сделать ласковое лицо, поцеловать выцветшие усы мужа, назвать его «Кирюшей», намеком что-то пообещать ему... Людмила редко прибегала к таким средствам, так как пока они действовали неодолимо и должно было беречь их силу. Против таких соблазнов Кирилл Кузьмич не устоял и на этот раз, Людмила получила разрешение ехать с теткой на собрание, с тем, однако, чтобы непременно раньше 12 быть дома. Условие было поставлено формаль-

но, и Людмила знала по горькому опыту, к каким неприятностям повело бы неисполнение его.

Людмила еще раз поцеловала рыбы глаза своего Кирюши и выпорхнула (?) из кабинета, чтобы одеться в подходящий случаю туалет. Бучугин остался один, по-прежнему раздраженный. Доктор решительно запретил ему выезжать, и он, дорожа своим здоровьем, был бессилен. Утешала его только мысль, что каждый шаг жены будет под надзором: от дому до Общества и обратно — шофер, в самом собрании — тетка Фаина, которая тоже давала свои отчеты Кириллу Кузьмичу, за что и получала на рождество, на пасху и в свои именины бонбоньерку конфет со вложенным в нее пятисотрублевым билетом. В наши дни все оплачивается: хочешь, чтобы тебе служили, — плати.

5

Общество любителей телескопов было посвящено не изучению звездного пространства, как можно было бы подумать по его названию, а разведению тех * очаровательно-чудовищно-восхитительно-безобразных рыб, которые носят то же наименование, как и прибор астрономов. Кажется, этот невольный каламбур и завел в число членов Общества Федора Васильевича Ходакова, страстного астронома, который способен был целые ночи просиживать, прильнув к стеклу своего телескопа, или в университетской обсерватории, разглядывая в зеркало восходящую зарю Сириуса. Здесь, на собраниях этого Общества, Федор познакомился и с Людмиллой, так как Бучугин считал долгом следить за модой и, кроме старинной мебели, увлекался также орхидеями и рыбами-телескопами.

Состав членов Общества был самый изысканный. Высшая буржуазия, московские богачи второго поколения, которых уже не удовлетворяло битие зеркал по ресторанам, любимое развлечение их отцов и дедов, блазированные юноши, которые <1 нрзб> утонченно рисоваться своим пристрастием к редким сортам водяных чудищ, наконец, скужающие дамы, которым надоела забава благотворительности, а затем небольшое число истинных любителей ихтиологии, профессоров и дилетантов, — таковы были обычные посетители вечеров Общества. Собиралось оно в собственном помещении, так как было достаточно для того богато, в прекрасных залах, уставленных аквариумами, в которых, поводя своими громадными перистыми плавниками, медленно двигались причудливые создания, поводя на любопытных зрителей свои глаза, посаженные на длинные нервы, чему они и были обязаны своим именем. На этих вечерах читались какие-то диаграммы, которых никто не слушал, и демонстрировались какие-то глаза и приходилось поднимать их на экран волшебного фонаря. Но сущность была не в этих докладах и даже не в аквариумах, а в том, что по окончании демонстрации подавался чай и собрание превращалось в малый клуб, где можно было встретить «toute Moscou», блеснуть туалетом, увидеть туалет соперницы и перекинуться словом с кем нужно. Особая же притягательная сила собрания была в том, что в нем появлялись лица из другого круга: здесь бывали молодые приват-доценты, несколько художников из новейшей группы «Зеленой Астры», несколько поэтов почти что футуристов («но очень-очень comme il faut!»), несколько композиторов школ Скрябина или Стравинского, одним словом — представители Москвы художественной и литературной, которых нельзя было увидеть ни в салоне у -овых, ни на балу у -иных, ни на обеде у -уских.

Собирались по-московски, т. е. поздно. Известно, что в час, когда весь Париж уж в постели и каждый истинный парижанин уж храпит, надев

* Далее зачеркнуто: причудливо-безобразных и отвратительных

ночной колпак, под огромной периной, рядом со своей женой или сожительницей, и только для иностранцев, которыми кипит мировая столица, огни освещают ее два полюса: Монмартр и Монпарнас, — в этот час Москва только начинает свой * «вечер». «Просим к нам сегодня вечером» на московском диалекте означает: пожалуйста после 11 часов ночи, да и то приехавший слишком близко к этому часу рискует оказаться первым и вызвать неприятное удивление хозяев неурочно-ранним появлением. Поэтому в начале 12-го, когда вошел Федор, в зале было еще довольно пусто: приглашенный лектор, добросовестно зарабатывавший установленный гонорар в 50 рублей, монотонным голосом читал что-то <1 нрзб> скучное о рациональных приемах обновления воздуха в воде аквариумов, и кучка из 10—15 человек, разместившихся в первых рядах стульев, делала вид, что слушает. Но уже быстро <?> собирались обычные посетители вечеров; у подъезда каждую минуту останавливались огненные глаза автомобилей, и швейцар едва поспевал принимать разноцветные пальто и *sorties de bal*: дамы умели с необыкновенной грацией сбрасывать их одним небрежным движением плеч и потом шли дальше, словно не обратив внимания на судьбу своего одеяния, зная, что вышколенное <?> искусство швейцара никак не даст им коснуться пола, но что они будут подхвачены на лету и бережно помещены на вешалку.

Федор обвел глазами присутствующих. Ее не было. Но <он> даже не успел испытать чувство досады за то, что понапрасну появился в Обществе, как из коридора легкой поступью воздушной феи — поступью, кажется, тоже старательно заученной, — выступила Людмила в сопровождении тетки Фаины, следовавшей сзади, как тень за человеком. Людмила была более чем очаровательна: на ней был изящнейший вечерний туалет, простота которого стоила раз в пять дороже, чем самое роскошное платье, а вместо всех украшений, на груди был только один бриллиант в виде кулона на тончайшей золотой цепочке — огромная сверкающая слеза, — но бриллиант, за который было заплачено ровно ** тридцать тысяч (Бучугину не удалось выторговать у ювелиров даже 5 % скидки!).

Федор издала поклонился. Единственным его желанием было бежать навстречу, поцеловать руки, заговорить, спросить, сказать, — по условия «света» требовали оставаться на месте, даже не смотреть пристально на ту, к которой были обращены мысли, и делать вид, что слушаешь лектора. Людмила прошла еще лучшую светскую школу, нежели Федор, который, собственно говоря, многое постиг в деле этикета только «своим умом»; и потому с еще большей выдержкой Людмила чуть-чуть кивнула в ответ головой, показав изумительную прическу, где каждый волосок лежал покорно рядом с другим волоском присела с милой непринужденностью на ближайший свободный стул и, казалось, вся обратилась в слух, с любезной улыбкой узнавая подробности об устройстве новоизобретенного насоса для накачивания воздуха в аквариумы.

Прошло не менее четверти часа, в продолжение которых Федор все не смел первым приблизиться к Людмиле. Несколько раз он порывался нарушить все правила этикета, подойти и сесть рядом; нога уж готова была сделать первый шаг; но один взгляд на все это общество, на безукоризненные смокинги, на пробы юношей, проведенные словно по циркулю, на неподвижность улыбок, застывших на женских лицах, парализовал волю. В таком обществе нельзя, невозможно, немыслимо было сделать хотя бы один жест, нарушающий этикет: к сыновьям и дочерям, внукам и внучкам недавних Тит Титычей перешли, казалось, все предрассудки Версаля времен Короля Солнца и Людовика XV!

* Далее зачеркнуто: «день»

** Далее зачеркнуто: шестнадцать

Наконец, лектор кончил. Никто на самом деле не слышал, что именно он читал. В памяти смутно оставались только слова: «воздушное давление», «предельная атмосфера», «коэффициент расширения»... Тем не менее раздались аплодисменты, не слишком громкие, ибо это было бы вульгарно, но достаточно оживленные, чтобы они выражали удовлетворение аудитории: хлопали покровительственно, совершенно так же, как в ресторанах дают лакею «на чай», если тот добросовестно исполнил свои обязанности. Послышался шум отодвигаемых стульев, легкий шорох юбок и первые голоса; все вставали с мест и обменивались приветствиями, так как большинство приехало уже после начала чтения.

Федор, вежливо уклоняясь от целого ряда обращенных к нему лиц, решительно двинулся в сторону к Людмиле, как вдруг кто-то осторожно подхватил его под руку. Федор даже вздрогнул от неожиданности: мы так привыкли считать свое тело неприкосновенным, что всякое касание к нему чужой руки вызывает в нас дрожь: чувство незнакомое в тех кругах, где «затрепина» и «тычок» считаются зауряднейшим случаем. Быстро обернувшись, Федор увидел перед собой Грабовского, которого даже не сразу узнал, так как уже давно не встречал нигде. Это еще больше раздосадовало Федора и, с трудом сдерживая негодование, он, намеренно не сдерживаясь, бросил резко:

— Простите, у меня дело...

Но поляк знал, что делал; наклонясь, он столь же быстро шепнул:

— Вы знаете, что ваш отец умер?

— Что-о?

Удар молнии, которая вдруг испепелила бы лектора, читавшего о коэффициентах давления, не более поразил бы Федора. Он стоял, буквально остоленев, и смотрел на поляка, принесшего такое чудовищное известие. Грабовский продолжал шептать:

— Я догадался, что вы ничего не знаете, и принял на себя смелость разыскать вас. Вероятно, из дому послали сказать вам на квартиру, но там не знают, где вы находитесь. Вам нельзя здесь оставаться, пойдемте.

Федор был еще настолько поражен известием, что покорно позволил вывести себя в коридор. Там только он опомнился и спросил * отрывисто:

— Откуда вы узнали? Я сегодня обедал с отцом. Он был совершенно здоров три часа назад.

— Во-первых, не три часа, а пять часов тому назад. Во-вторых, тотчас после ваше~~й~~... после вашего разговора ваш батюшка почувствовал себя дурно. Его уложили в постель. Произошел, вероятно, удар, и в 9¹/₂ часов вечера его не стало.

Федор все еще не мог освоиться с этой мыслью.

— Что ж? Был доктор? Констатировал смерть?

— Простите, Федор Васильевич, у меня нет подробностей. Но я достоверно знаю, что ваш батюшка скончался. Притом при таких странных обстоятельствах, что я в силу нашей старинной дружбы счел долгом тотчас известить вас.

Грабовский говорил неправду о старинной дружбе: Федор едва знал его, и знакомство ограничивалось несколькими кутежами за Тверской заставой. Но было не время останавливаться на этих мелочах и Федор только переспросил:

— Какие странные обстоятельства?

Хотя разыскивать Федора Граб~~овский~~ и отправился именно для того, чтобы сообщить об этих обстоятельствах, он теперь не сразу нашел слова, как их определить.

* Далее зачеркнуто: решительно. Затем снова зачеркнуто: с недоверием

— Видите ли... Уж ходят по городу слухи... Вам это необходимо знать... Одним словом, говорят, что ваш отец был отравлен.

Это было уже более того, что Федор мог вынести. Разумеется, современный человек в обморок не падает, не вскрикивает от ужаса и вообще всегда настолько владеет своей внешностью, что ничем не выражает своего волнения, когда находится в присутствии других, но на этот раз Федор почти изменил этим правилам. Он вдруг высвободил свою руку от рук Гр<абовского>, крепко его сжимавшего, и кинулся к выходу, едва не забыв кинуть:

— Благодарю вас!

Но Гр<абовский> догнал Федора на площадке лестницы.

— Федор Васильевич! Куда же вы?

— Благодарю вас за известие, я должен ехать.

— Куда?

— Простите, это уж мое дело.

Однако последняя фраза до такой степени нарушала все установленные правила приличия, что и сам Федор, произнеся ее, тотчас почувствовал неловкость и поспешил поправиться:

— Извините меня *, Владислав Феликсович, вы видите, я расстроен. Я, разумеется, тотчас поеду к отцу.

— Вы действительно расстроены, так что позвольте мне ехать с вами.

Гр<абовскому> во что бы то ни стало хотелось использовать момент и втереться в дружбу и в близость к будущему миллионеру. Но Федор был человек <?> решитель<ный>:

— Еще раз извините, я должен быть один.

И, поворотившись, Федор пошел вниз, но потом, вспомнив, вернулся.

— Вы были так любезны, Владислав Феликсович, окажите мне еще одну услугу.

— Я в вашем распоряжении.

— Вы знакомы с Людмилой Николаевной?

— Бучугиной?

— Да. Пожалуйста, сообщите ей причину, почему я уехал, не повидавшись с ней.

6

Гр<абовский> не успел еще ответить, как Федор уже сбежал вниз, перескакивая через две ступени, накинул пальто и вырвался на улицу. Прохладный воздух апрельской ночи пахнул в лицо. Засияли перед глазами созвездия: Большая Медведица, Плеяды, Орион... Федор вздохнул полной грудью и сразу почувствовал себя другим человеком: энергия, бодрость, спокойная деловитость вернулись к нему: бессознательно он ощущал у себя под ногами твердую почву десяти миллионов.

Через двадцать минут лихач подкатил Федора к воротам Таганского дома Ходаковых. В окнах, выходящих во двор, виднелся свет: значит, в доме не спали. Федор дернул ручку старомодного звонка на проволоке и стал ждать.

Громыхая ключами и шлепая валенками, подошел к калитке хорошо знакомый дворник Филипп, залаяли собаки, Нерон и Цыган, калитка, скрипя, отворилась.

— Это ты, Филипп! Как же это случилось?

— Божья воля, — отвечал мрачно Филипп.

Но Федора поразило, что старик продолжал стоять в дверях, закрытая своим телом вход. Федор дождался мгновение. Филипп молчал.

* Далее зачеркнуто: Феликс

— Ну пусти пройти! Я же тороплюсь.

— Так что, барин, — медленно произнес Филипп, — матушка ваша теперь почивают, и сестрица легли-с. Все, значит, спят...

— Все равно, ведь есть кто-нибудь в доме!

Федор хотел отстранить Филиппа, но тот решительно загородил дорогу.

— Так что пожалуйте завтра, барин, — мрачно сказал он.

Второй раз в этот вечер Федор остолебенел. Он чувствовал, что этот мужик, дворник, старый Филипп, которого он знает с детства, наносит ему оскорбление, тяжелее любой пощечины. Федор даже не мог говорить от гнева; обеими (?) руками он схватил Филиппа за ворот*, шагнул через подворотню и, наконец, проговорил задыхаясь:

— Ты понимаешь, мерзавец, что ты говоришь!

В минуту гнева утонченный мечтатель Федор Ходаков, член Общества телескопов и автор исследования по вариационному числению, становился диким кунцом, способным «бить по роже» «половых» и «ребят».

Старику было не под силу бороться с молодым человеком, к тому же не чуждым футбола и тенниса, и он только забормотал (?) вслед Федору, уверенно шагнувшему по двору:

— Да мне что ж, барин, как что приказано.

Федор обернулся:

— Тебе что ж, приказано не пускать меня?

— Так точно, приказано.

Филипп служил когда-то солдатом и органически уже не мог выговорить иного утверждения, кроме «так точно». Федор пожал плечами и решительно взошел на ступеньки крыльца и нажал кнопку звонка; Нерон и Цыган, узнав молодого барина, прыгали кругом.

За стеклянной дверью вспыхнуло электричество (новшество, введенное в Таганском доме по настоянию самого Федора). За стеклом появилась фигура Григорьяча, полу-лакея, полу-дворецкого **, переведенного на эту должность из приказчиков, после того как он в чем-то проворовался. Узнав Федора, Григорьяч, не отпирая двери, отрицательно закачал головой. Ярость Федора дошла до последних пределов, он готов был разнести вдребезги этот дом, в котором считал себя хозяином и куда его не пускали; с безумным ожесточением он начал колотить по стеклу. Григорьяч испуганно приотворил дверь.

— Батюшка Федор Васильевич! — заговорил он, — помилосердствуйте! Барыня Матрена Тихоновна легли, так как очень наплакавшись, и барышня Анна Васильевна также почивают. Никого не приказано пущать, настрою не приказано!

— Да ведь не меня же!

— Нет-с, так и сказать изволили. И ежели, говорят, приедет Федор, скажи ему, чтоб завтра на панафиду приезжал.

— Послушай, Григорьяч, — спросил Федор, наконец овладев собой, — да кто здесь хозяин теперь, в этом доме? Я или нет?

— Этого я не могу знать, — осторожно возразил лакей, — оно, может быть, и вы-с, но пока здесь распоряжается вдова покойного вашего батюшки, матушка ваша, и они мне настрою заказали. Ежели, говорят, приедет Федор, скажи, пусть, мол, приезжает завтра на панафиду.

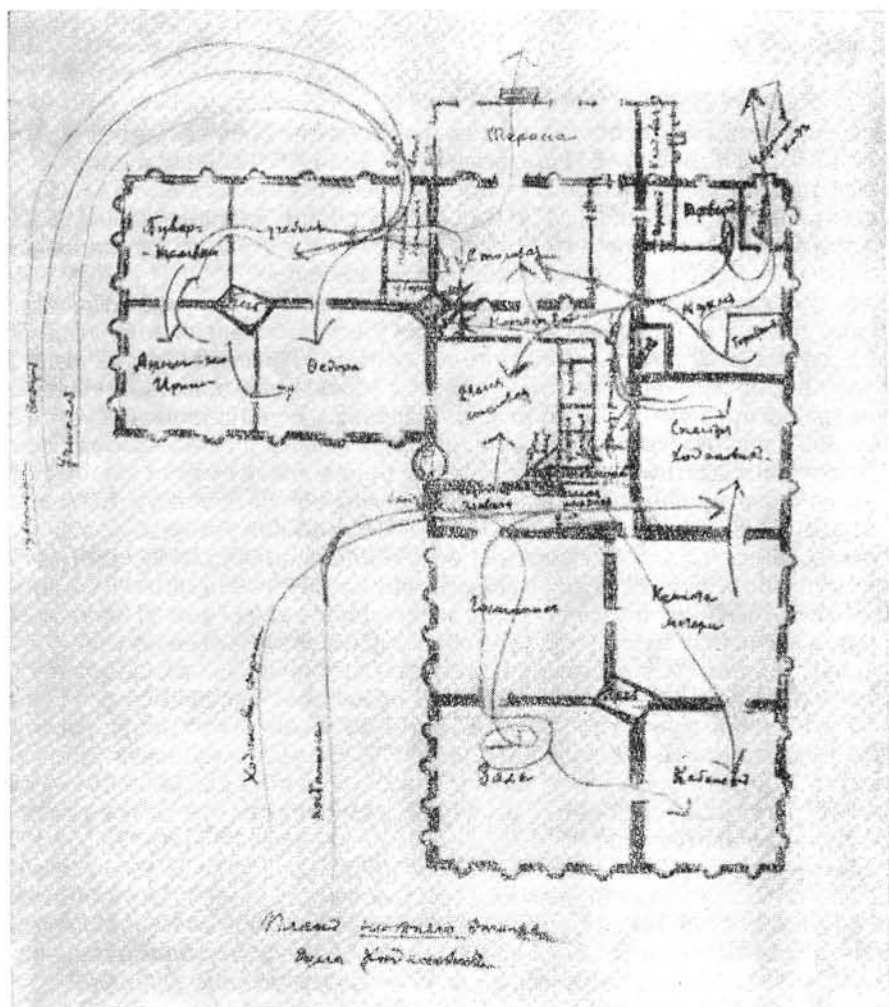
— А если я хочу поклониться телу отца? Помолиться перед телом?

— А это никак-с невозможно, потому что, значит, полиция никого не дозволила пущать, и печать на дверь наложен, да-с.

Федор посмотрел растерянно на Григорьяча... И вдруг сразу, как вспышка зарницы, истина представилась Федору: это его, сына, подозревают

* Далее зачеркнуто: и хотел отшвырнуть его от ворот. Но, к изумлению Федора, Филипп оказался смел, высвободился из рук барина

** Далее зачеркнуто: нянчившего Федора



ПЛАН ДОМА ХОДАКОВЫХ

Материалы к «роману из современной жизни»

Рисунок Брюсова

Библиотека СССР им. В. И. Ленина, Москва

в отравлении отца! То был третий страшный удар в этот вечер. Сразу все * возбуждение Федора упало: не стало ни сил, ни воли. Еще раз он тупо посмотрел на Григорьича, стоявшего в прежней, полупочтительной, полувывывающей позе, потом круто повернулся и побрел прочь.

Филипп дожидался у калитки с ключами в руках. Федор не сказал ему ни слова, молча вышел, сел на ожидавшего его лихака и коротко приказал:

— В Малый Кисельный!

Лошадь рванула. Филипп закрыл калитку. Григорьич погасил электричество в прихожей. Тело Василия Тимофеевича покоилось в опечатаанной комнате и только перед стеклянной дверью в нее был поставлен аналой, и монашенка заунывно вычитывала:

— Идеже несть страсти, печали и въздыхания, но жизнь вечная...

* Далее зачеркнуто: сила; затем снова зачеркнуто: энергия

Глава [VI] II*

1

Дом Ходаковых делился как бы на две партии. Конечно, глава семьи, теперь покойный Василий Тимофеевич, правил ** самодержавно, и его воле всё кругом подчинялось. В часы его гнева все трепетали, как рабы перед ассирийским владыкою. Но в обычное время младшие члены семьи составляли как бы особое автономное царство, к которому принадлежал, до своего изгнания из родительского дома, и Фео.

Василий Тимофеевич жил на «своей половине», к которой относились парадные комнаты, большею частью пустынные, с мебелью, закрытой чехлами, и кухня с разными к ней примыкавшими помещениями. В этих же неуютных, торжественно-пустых хоромах проводила жизнь и Матрена Тихоновна, вторая жена Ходакова, урожденная Кумачникова. Девятнадцатилетней «девкой» вышла она за вдовца, которому шел 45-ый год, правда, богатого и бездетного (дети от первого брака все к тому времени умерли), но крутого нравом и бравшего себе в дом новую хозяйку только затем, чтобы «порядку было больше» и чтобы «стало кому имущество и дело передать». Матрена эти требования послушно исполнила, хозяйство повела аккуратно и родила мужу троих детей, из которых в живых остались двое: Феодор и Анна, но своей воли не проявила ни на миг. Попав в богатый дом из семьи небогатой, застенчивая девочка Мотря сначала дрожала перед своим господином и повелителем, словно бы он властен был в любое мгновение испепелить ее, потом обжила, располнела, приняла манеры степенной купчихи, но так и осталась верной «старине», заветам старого Замоскворечья, в которых выросла, несмотря на все веяния новой жизни, проникшие и в дом Ходаковых. Василий Тимофеевич по-своему любил жену и последние годы даже снисходил до того, что с ней в иных случаях советовался.

Вокруг стариков, Василия Тимофеевича, которому во втором десятилетии XX в. пошел восьмой десяток, и Матрены Тихоновны, которой тоже подошло уже под пятьдесят, группировался целый мирок «своих людей», близких к ним по воззрениям и угождавших им и низкопоклонничавших перед ними. Один за другим, по разным поводам и под разными предлогами, эти люди попадали в богатый ходаковский дом, оседали или как-то застревали в нем и уже оставались навсегда, на положении «бедных родственников» и на правах «приживальщиков» и «приживалок». На первом месте тут была «тетя Феня», сестра Мотри, моложе ее на три года, замуж не вышедшая, кроткая и робкая «старая дева». Поселилась она при более счастливой сестре после смерти отца, под конец совсем обедневшего, но, впрочем, оставившего дочерям какие-то крохи в наследство. Василий Тимофеевич великодушно отказался за свою жену от ее доли, а тетя Феня никогда никому не признавалась, сколько именно наскребла она по ликвидации отцовского дела: может быть, и до десятка тысяч. Деньги эти она держала в банке, а так как тратить ей было почти некуда, то капитал ее все рос да рос, и это придавало ей в доме Ходаковых некоторую самостоятельность, которой во зло она не пользовалась.

Напротив, «дядя Костя», мужчина лет сорока, тоже проживавший у Ходаковых, по его собственному выражению, был «гол как сокол» и жил только подачками. По паспорту Константин Кондратьевич Клушин, дядя Костя высчитывал, что Василию Тимофеевичу он придется «внуучатым племянником», но получил свой угол, конечно, не столько по родству, сколько по умению прислуживаться, когда — польстить, когда —

* Фрагмент II

** Далее зачеркнуто: домом

позабавить. Однако водился за ним один грех: он запивал, и не раз в такие дни разгневанный Василий Тимофеевич грозил «вышвырнуть эту слякоть» на улицу, чтобы «и запаха ее не осталось»... Но запой проходил, дядя Костя являлся с повинной, и все вновь шло обычным порядком.

Третьим членом «партии стариков» была Лукерья Ниловна, совсем даже не родственница ни Матрене Тихоновне, ни Василию Тимофеевичу, хотя и пытавшаяся подвести какое-то свойство через его первую жену. Подлинный, ныне исчезающий тип «приживалки», Лукерья Ниловна, издавна навещавшая Ходаковых и получавшая на кухне остатки обеда, однажды, лет десять тому назад, попросила позволения, под каким-то предлогом, переночевать, да так и осталась в доме. Сначала перетащила к Ходаковым свой скудный скарб, потом выхлопотала себе каморку подле кухни, а там уже стала появляться за «хозяйским» столом: одним словом, втерлась в семью и незаметно стала ее членом, так что скоро уже стало невозможным представить себе у Ходаковых обеденный стол * без черной фигуры Лукерьи Ниловны. «Дальняя родственница», говорили про нее, и она сама, кажется, поверила, наконец, в это выдуманное ею же родство.

Наконец, таким же постоянным членом семьи была «странница» Серафимочка — тоже одна из «последних могижанш» своего рода. По внешности словно вышедшая из старой комедии Островского, она была, однако, куда более «культурной», чем ее прототип из «Грозы»: десятилетия сделали свое дело. Серафимочка не только не могла уверять, что паровоз это — запряженный дьявол, но и сама охотно пользовалась и железными дорогами и телефоном, и даже очень полюбила тайно посещать кинематограф. Это не мешало ей длинно повествовать о своих «странствиях», как с паломниками побывала она во Иерусалим-граде, и в Италии, в городе Баре, где мощи Николая чудотворца, зашившего поганого еретика Ария, и в Киевских печерах, и в Соловках. И не только Матрена Тихоновна, но и сам Василий Тимофеевич способен был целыми вечерами слушать эти рассказы о заморских диковинах и святыхнях.

Четверо этих лиц поселились в ходаковском доме прочно, так что до последних дней, до самой смерти Василия Тимофеевича, им, вероятно, перестал даже приходить в голову вопрос: а по какому праву я здесь живу? Но, кроме них, непрерывно в доме гостили другие личности, тоже какие-то «родственники» и «родственницы», «старцы», «странники», «монашенки», неизвестно откуда появлявшиеся, кто — пообедать, кто — переночевать, кто — провести день, два, а то и несколько недель или даже месяцев. В сущности, вся семья Ходаковых состояла из 4—5 человек, но со всеми проживающими в доме редко за обед садились меньше 15, а часто и больше. Летом же, когда Ходаковы выезжали на свою дачу в Сокольников, набиралось порой и до 30 человек! Каждый день был словно званный обед.

За этими обедами «старик» встречались с «молодыми». Как возникла в суровом ходаковском доме, казалось бы, закрытом от всех живых влияний извне, эта вторая партия «молодых», надо рассказать отдельно.

У Василия Тимофеевича была младшая сестра, Марья. Ее, тоже почти девочкой, лет 19, выдали за сына богатого скорняка — Никифора Лукича Твердого. Семья Твердых была такая же ветхозаветная, московско-купеческая семья, как Ходаковы, Клушины и Кумачниковы. Но юность Никифора пришлась на горячее время, 60-ые годы; он как-то сблизился с кружком студентов, стал читать книжки, учиться, даже сам поступил было в Петровскую академию... Увлечение это длилось недолго; после бурных ссор с отцом Никифор уступил, из академии вышел и, покорный родительской воле, женился на Марье Ходаковой. Однако одно у Никифора от

* Далее зачеркнуто: — за который ежедневно садилось человек 15 —

периода его «эмансипации» осталось: уважение к науке. Когда у него родился сын, Илья, он твердо, «по-твердовски» (ибо их род отличался упрямством), порешил — дать сыну образование. Деньги были, к Ильёше, несмотря на возражения деда, пригласили гувернанток и учителей; потом отдали Илью в гимназию, а потом он уже сам пошел в университет. Так, во втором поколении, Твердые из «замоскворецких» перешли в «интеллигенцию». Илье было 22 года, когда в 1888 г. он встретил свою будущую жену, Ксению Ивановну Залужскую, бедную сироту, но девушку с характером посильнее, чем у всех Твердых, взятых вместе. Молодые люди поженились, и Илья, отказавшись от ненавистного ему скорняжества *, получил место управляющего частной обсерваторией (он был математик и астроном). Дед Ильи, старик Твердый, к тому времени умер; отец, Никифор Лукич, видя, что сын не хочет продолжать родового дела, ликвидировал скорняжную мастерскую, выручив что-то до ста тысяч, и хотел доживать век на покое. Но тут-то и обрушились на Твердых несчастья.

Илья был женат уже лет семь; было у него две дочери — старшая Ольга, младшая Ириночка; внезапно, простудившись, Илья заболевает воспалением легкого и через неделю умирает. Семья была еще под гнетом этого удара, как падает второй. Оказывается, что «дедушка», Никифор, поместил свои деньги, думая выручить большие % %, в известный банк ***, о крахе которого в 90-х годах прошлого века с месяц говорила «вся Москва». Банк «лопнул», и от крупного капитала остались крохи. Никифор, которому было тогда под 60, не снес удара: говорили, будто старик наложил на себя руки, отравился, но, может быть, это и пустые рассказы. Но жива была еще бабка, Марья Тимофеевна, сестра Василия Тимофеевича. Она пошла просить помощи у брата, и так в доме Ходаковых поселилась целая семья: старуха Марья, ее золовка Ксения Ивановна и две ее дочери Ольга и Ирина. С этого и вошло новое в дом Ходаковых.

Евгения была женщина, которая не теряет ни в каких обстоятельствах. Без копейки денег, с двумя малютками-дочерьми, принужденная жить из милости в чужом доме — и каком доме! у Василия Тимофеевича Ходакова, которого его приказчики боялись, как грозы божией, — Евгения сумела не только завоевать себе самостоятельное положение, но даже оказывать свое влияние. Василий Тимофеевич в ту пору был уже лет 12 женат на своей Мотре, уже были в семье и Феодор, и Анна. Молодая «учительша», как называли сначала у Ходаковых Евгению, словно околдовала старика: в первый раз ходаковская воля столкнулась с другой, не менее решительной. В один из первых же дней после того, как Евгения поселилась у Ходаковых, вышло жестокое столкновение между ней и Василием Тимофеевичем. Тот вспылил, у Мотри от ужаса язык отнялся, но «учительша» безбоязненно встретила все молнии грозного хозяина.

— Вы — умный человек, — сказала она ему, — подумаете и сами увидите, что неправы. И вам самим стыдно станет, что вы понапрасну кричали. А меня пустым криком не напугаете.

Василий Тимофеевич остолбенел; посмотрел на Евгению, тонкую, чихоточную женщину, которая без всякого страха перечила ему, хотя во всем от него зависела, — посмотрел и удивился.

— Однако ж... Ты, того, — бой-баба! — вымолвил он, наконец, помолчав.

Гнев его вдруг остыл, и с того часа Василий Тимофеевич стал испытывать новое для него чувство: уважение к другому лицу.

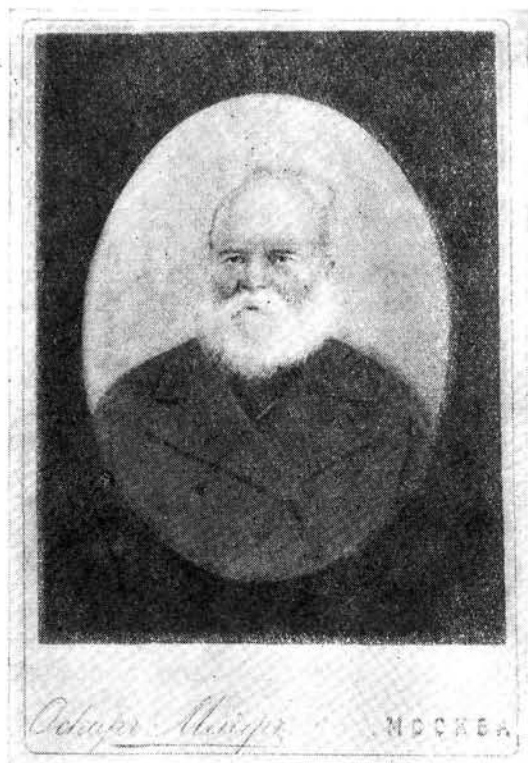
Евгения не торопливо, но решительно овладевала своей долей власти в ходаковском доме. Для себя и для своих дочерей, и для бабушки Марьи она вытребовала совершенно отдельный флигель, куда назначили и от-

* Далее зачеркнуто: поступил лаборантом в университет; заведующим

К. А. БРЮСОВ. ДЕД ПИСАТЕЛЯ

Фотография О. Мейера. Москва,
1980-е годы

Библиотека СССР им. В. И. Ленина,
Москва



дельную прислугу. Мало того, Евгения потребовала, чтобы ее дочерям взята была гувернантка, и к потрясающему удивлению всех Василий Тимофеевич уступил.

— Разве вы не видите, — сказала ему Евгения, — насколько выгоднее быть человеком образованным. Оглянитесь вокруг, посмотрите, что делается даже в вашем мире, торговом...

Василий Тимофеевич, действительно, был человек далеко не глупый, и убедить его в пользе образования было не так трудно. Втайне и сам давно подумывал дать образование своим детям. Евгения только положила последнюю гирьку на чашу весов, уже готовую перевесить. И вот, в ходаковском доме появилась m-lle Blanche, а за ней и разные учителя и наставники. Было решено, что Анна, Ольга и Ирина будут учиться вместе, так как они были одного возраста, а Федора стали готовить в гимназию...

Так зародилась новая жизнь в ходаковском доме. Евгения была не жилища на свете: чахотка медленно, но беспощадно точила ее силы. Она прожила, однако, в доме Ходакова лет десять, занимая в нем совершенно особое положение. Ни в чем не позволяла она себе посягнуть на права Матрены Тихоновны, хозяйки, но едва ли не все кругом творилось по воле Евгении. Дом был заново отремонтирован, в комнатах появилась великолепная рояль, прислуге пришлось во многом «подтянуться»; Евгения, кстати, прекратила неимоверное воровство, которое царило в доме при всей расчетливости Ходакова, да, осторожно действуя, выселила пять или шесть приживальщиков, уже пустивших корни у Ходаковых: устояли только «тетя Феня», да «дядя Костя», да Лукерья Ниловна (Серафимочка водворилась уже позже). Зато с беспощадностью был изгнан «старец Ириней», занимавшийся пророчеством, но у которого нашли множе-

ство уворованных из дома вещей, а «блаженненский Ваня», тихий идиотик, иногда становившийся буйным и опасным, был помещен в психиатрическую лечебницу; с ними исчезли с кругозора еще какая-то «Лизавета», врачевавшая травами, майор Усатов, терроризовавший одно время робкую Мотрю, «племяша» Петя, втершийся в родство, и другие такого рода весьма «темные» личности.

Важнее было то, что прорвана была плотина, закрывавшая молодому поколению путь к образованию. Феодор поступил в гимназию и учился хорошо; Анна и Ирина вскоре последовали за Феодором и тоже стали ездить в гимназию на прекрасных рысаках Ходаковых. Ольгу почему-то отдали в закрытый пансион. Это послужило к ее гибели: девочка заразилась тифом и умерла на чужих руках, причем начальство пансиона так долго откладывало известить родных, что мать уже не застала дочери в живых... Это несчастье сильно потрясло Евгению; она вдруг состарилась, даже утратила свою обычную энергию и через год последовала за дочерью, перед смертью взяв торжественную клятву с Василия Тимофеевича, что он даст возможность и своим детям и Ирине завершить образование. Старуха Марья скончалась еще года на три раньше. Ирина осталась в доме Ходаковых круглой сиротой, но ее уже считали «своей». Феодор и Анна любили ее как родную сестру, а Василий Тимофеевич, тряхнув головой, после смерти Евгении положил на ее дочь в банк 30 тысяч.

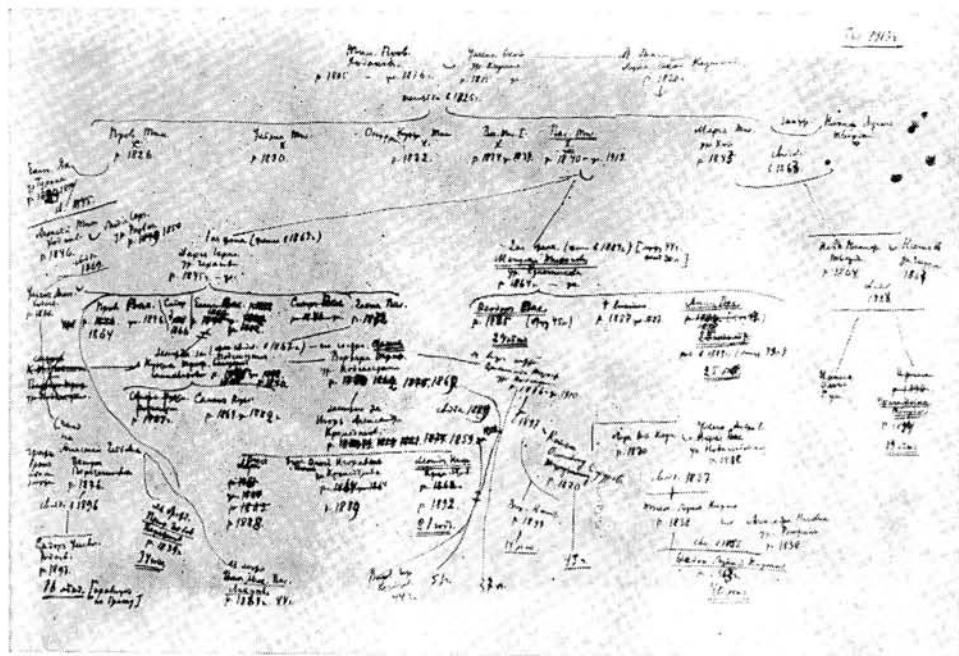
— Ежели, значит, я что делаю, — заявил он, — так в полноту, а не наполовину!

Впрочем, злые языки и тут говорили, что для десяти миллионов, которыми исчислялось состояние Ходакова, 30 тысяч была сумма довольно-таки скромная.

Эти трое «ученых», Феодор, Анна и Ирина, и образовывали ядро партии «молодых» в ходаковском доме. После того как появилась в нем Евгения, они собрались вокруг нее и чуть ли ее не обожествовали: Анна ребенком была буквально влюблена в «тетю Женю» и ради нее готова была бы пойти на смерть и муки. Для самой Евгении единственным утешением в ее тяжелой жизни в доме Ходаковых было — заниматься с детьми: она всячески заботилась об них, играла с ними, учила их, воспитывала их. По смерти Евгении дети остались верны ее памяти и долго в своих детских молитвах поминали ее имя, наивно повторяя: «И упокой, господи, тетю Евгению на небесах».

Как мальчик и как старший, Феодор естественно заступил после Евгении ее место, став, так сказать, главой партии. По обычаю дома, она постоянно пополнялась новыми рекрутами: Ольга, сестра Ириночки, умерла, но в доме постоянно гостили то подруги двух девочек, то товарищи Феодора. Кроме того, в доме осталась жить m-lle Blanche: дети выросли, но никто не предложил бывшей гувернантке покинуть ее место, а т. к. m-lle Blanche было буквально некуда деться, то она и осталась в обширном ходаковском доме в качестве не то экономки, не то дуэньи при Анне...

Матрена Тихоновна жила, окруженная своими приживалками и стражниками; на ее половине служились молебны, слышались повествования о путешествиях по святым местам, горели лампадки перед огромными божницами. Во флигеле, куда понемногу перебралась вся молодежь, царил оживление и веселие. Там собирались зачастую целые маленькие митинги юношей и девушек, что-то читали, спорили, шумели, причем попадались неимоверные груды конфет, в которых никогда не было недостатка в доме Ходаковых. Важно было только, чтобы митинги эти происходили в будни и в те часы, когда Василий Тимофеевич находится «в анбаре». К 6 часам все посторонние посетители исчезали; оставались лишь те, кто гостил в доме. За обедом молодежь чинно крестилась перед тем, как



РОДОСЛОВНАЯ СЕМЬИ ХОДАКОВЫХ
Материалы к «роману из современной жизни»
Автограф
Библиотека СССР им. В. И. Ленина, Москва

сесть за стол, сидела скромно, не вмешиваясь в речи старших. Потом вечером, в своем флигеле *, еще долго шептались под покровительством на все смотревшей сквозь пальцы m-lle Blanche. А Федор с товарищами запирались у себя «наверху» (ему был отведен второй этаж — ряд низеньких «антресолей», где первые годы затевались разные проказы, а позднее, когда юноши подросли, тайно устраивался «банчок» и появлялись на столе бутылки с вином... Здесь покровителем молодежи был некий Евфим; он когда-то служил «в деле», но при одном несчастном случае потерял руку и был приставлен к «молодому барину», как говорила прислуга, хотя сам Василий Тимофеевич терпеть не мог этого выражения («Какие мы бары?» — негодуяще говаривал он).

Так шли годы. Долгое время каким-то чудом поддерживалась видимость полного согласия между двумя половинами дома, и грозный Василий Тимофеевич ничего не знал об том, как преводила жизнь его дети. «Учатся», — думал он, и довольствовался этим убеждением. Но тайну можно было хранить лишь до поры до времени; то одно, то другое стало всплывать перед стариком Ходаковым, тем более что в добровольных шпионах в доме недостатка не было. Понемногу дошло дело до суровых разговоров между отцом и сыном и отцом и дочерью. На беду Федор склонен был покутить: широкая отцовская натура сказала, — и студентом познал сладость разных «Аркадий» и «Эрмитажей». Понадобились деньги, гораздо большие, нежели сколько отпускал отец... появились на сцену векселя... Вышло очень неприятное объяснение с отцом; Василий Тимофе-

* Далее зачеркнуто то: девочки

евич разгневался очень, грозил сыну, что проклянет и прогонит из дому, но на первый раз смиростивился и заплатил долги — что-то около десяти тысяч: для студента, хотя бы и сына миллионера, сумма немалая. К несчастью <?>, грех повторился. На этот раз Феодор сам сознал свою вину, раскаялся, просил прощения, дал клятву исправиться и опять был помилован. После этого Федор, действительно, «остепенился», стал работать, отстал от товарищей по кутежам. Но тут началась новая история.

Феодор увлекся своим проектом — построить свою «стеклянную башню» или «стеклянный столп» для сношений с другими планетами. Опять потребовались деньги, и гораздо большие, нежели на кутежи. Естественно, что отец не мог понять, на что сыну нужны тысячи и десятки тысяч рублей, чтобы строить какое-то нелепое сооружение близ их подмосковной фабрики. Он требовал, чтобы Феодор бросил свои глупости и занялся делом, так как сам старел и желал передать и фабрики и торговлю своему наследнику <?>. Неожиданно Фео заявил, что он не намерен продолжать отцовского дела, что пора дело ликвидировать и обратить всё в деньги.

— На что нам больше, папаша? — заявил он. — Я не знаю, конечно, вашего капитала, но во всяком случае на всех нас хватит. Вы уже довольно поработали и можете отдохнуть.

Отец, конечно, вспылал страшно. Когда же из разговора выяснилось, что план Ф<еодора> состоит в том, чтобы отец, ликвидировав дело и фабр<ики>, теперь же выделил ему и сестре по миллиону, оставив все остальное себе, — Василий Тимофеевич пришел в ярость. Для чего же он, Василий Тимофеевич, работал всю жизнь, собирал сначала по грошам, потом по рублям, потом по тысячам, десяткам и сотням тысяч, умножая капитал и расширяя дело! Зачем же он создал прославленную по всей России фирму Ходакова, чтобы по его смерти всё пошло прахом? Вот к чему привело «учение»!

Ф<еодор> был молод. Будь на его месте человек постарше, он, может быть, ради перспективы в 10 миллионов и сумел бы лицемерить, уверять отца, что дело будет продолжаться. Василий Тимофеевич был стар, ему в 10 году стукнуло семьдесят, а Фе<одор> — молод, ему было всего 25 лет. Но молодость не рассуждает: Фе<одор> так прямо заявил отцу, что его призвание — иное, что с мануфактурой он ничего общего иметь не будет, что работать он намерен, и много работать, но совершенно на другом поприще — старику Ходакову решительно непонятном и неизвестном, да едва ли и не «сатанинском». Тяжелая распря длилась долго, несколько месяцев. Василий Тимофеевич любил сына, единственного наследника скопленных миллионов, которого он в мечтах всегда считал преемником фирмы Ходаковых; старик употребил все старания, все усилия, грозил и просил, то кричал, то пытался уговоривать, но Фео<дор> остался непреклонен <?>. И кончилось тем, что Фео<дор> ушел из дому отца. Не то чтобы отец его «выгнал», но просто им стало жить вместе невтерпех. Так возникли странные отношения между отцом и сыном. Феодор жил отдельно, получая от отца еж<егодно> по тысяче рублей, — скудное содержание для сына архимиллионера, — но упорно не хотел уступить. Старик грозил, что передаст все дело старшему приказчику, продувному и хитрому Капитону Осиповичу Сусурову (из родственников первой жены Ходакова), но втайне надеялся, что сын придет с повинной. Феодор поддерживал отношения с родным домом, зачастую ходил к отцу обедать, но стоял на своем.

В таком положении было дело, когда произошла катастрофа.

Глава *

Федор Васильевич предпочитал не держать постоянного лакея: комнаты убирала жена швейцара. Поэтому утром Фео был разбужен звонком телефона, стоявшим у изголовья постели. Заснул Фео после волнений предыдущего дня поздно и потому проснулся не сразу от звонка, хотя был уже десятый час утра. Привычным движением руки Фео схватился за трубку телефона и, только приложив ее к уху, отчетливо вспомнил всё, что произошло накануне.

— Слушаю. Что угодно?

— Фео, это ты?

Он узнал голос Иночки.

— Я, Ина, я! Только что проснулся. Очень, очень рад, что ты позвонила. Говори. Я ничего не знаю. Меня вчера не пустили к вам.

— Знаю, но у нас бог знает что делается.

— Расскажи всё, подробно!

— Разве же всё расскажешь! Потом я совсем расстроена. Я не спала всю ночь, буквально, совсем. Я слышала, как ты приезжал...

— Почему же ты не вышла ко мне?

— Ах, ты не знаешь, что здесь делается!

— Так рассказывай!

— Нет, не могу! Вот что: ты приедешь на панихиду?

— Ну, конечно, должен приехать! Но после всего, что случилось... Я не знаю, а что, если тот же Григорьич меня не впустит! Я не понимаю, неужели мамаша тоже...

У него не достало сил выговорить: «подозревает, что я отравил отца».

— Нет, ты приезжай непременно! Мне надобно многое, многое тебе сказать.

— Так говори.

— Не могу, Фео! Ну, совсем не могу. Ты не чувствуешь, что со мной. У меня все в голове спуталось. Я — как сумасшедшая.

— Но почему?

— Что здесь было! С дедушкой удар, бабушка рыдает, Анечка побледнела, как смерть, люди потеряли голову... Дедушка требует нотариуса... Хотели послать меня... Нет, я не могу, Фео, я не могу говорить! Приезжай!

— Постой! Когда панихида? Было ли вскрытие?

Ина уже положила трубку. Федор тотчас позвонил и назвал номер отцовского телефона, по которому только что говорил. Но к телефону уже подошел Григорьич.

— Это ты, Григорьич? Попроси к телефону Ирину Ильинишну.

— Ирина Ильинишна еще спят-с, Федор Васильевич!

— Как спит! Я с ней сейчас говорил!

— Не могу знать-с: они не сходили вниз-с.

Федор рассердился.

— Какой вздор! Она здесь где-нибудь! Я минуту назад с ней говорил!

— Не могу знать-с, Федор Васильевич.

Телефон опять был положен.

«Это черт знает что такое!» — почти произнес Федор. Он яростно начал одеваться. Но на душе было мрачно. Лакеи в отцовском доме унижали его; значит об нем, о Федоре, в доме, мать и сестра, говорили враждебно. Его, Федора, считают за убийцу, который не сегодня-завтра будет в тюрьме! Иначе ничем нельзя объяснить наглого поведения Григорьича — того Григорьича, который звал Федора еще ребенком!

Как ни торопился Федор, ушло больше часу времени, пока он оделся и выпил утренний кофе, проглядывая газету. Во всем теле была тяжкая истома, и, торопя себя сознательно, Федор бессознательно откладывал минуту выхода, позволяя себе читать газетные известия и медленно втыкать золотую булавку в галстук.

Был 12-й час, когда Федор опять подъехал к таганскому дому. У ворот стояли автомобили и экипажи, толпился народ; очевидно, совершалась панихида. На дворе Филипп почтительно поклонился, но Федор не ответил ему. В передней Григорьич столь же почтительно бросился снимать пальто. Федор сдержал себя и спросил только:

— Вскрытие тела было?

— Так точно-с! Сегодня утром-с, в 7 часов-с...

Федор прошел в залу, где посередине, на столе, лежало в роскошном гробу тело отца, уже окруженное первыми венками, серебряными и из живых цветов. В зале было много народа; у самого изголовья стояли мать и сестра и другие родственники. Хорошо знакомый священник, своего прихода, истово возглашал слова панихиды. Горели свечи.

Федор остановился на пороге. Поблизости от него оказалась Наталья Дмитриевна Куркина, соседка-домовладелица, одна из немногих, часто бывавших в доме Ходаковых. Федор знал ее с детства; забывшись, он быстро поклонился ей и уж сделал первое движение, чтобы поздороваться. Но в тот же самый миг он заметил, что Куркина, как-то вздрогнув, торопливо кивнула ответно головой и чуть-чуть подвинулась назад, словно избегая подавать руку. Может быть, это только показалось Федору, но во всяком случае, когда он, пораженный, остался на месте, Наталья Дмитриевна сама не сделала к нему ни шагу и первая руки не протянула.

Федор почувствовал, что бледнеет; сердце застучало. Он — отвержен! В родном доме — его сторонятся! Какие-то Куркины боятся подать ему руку! — *Отцеубийца!*

Последнее слово Федор отчетливо выговорил в мыслях.

Но может быть, что ему все же только показалось. Забыв о панихиде, о покойном отце, Федор сделал еще одну попытку. Неподалеку стоял Игорь Алекс(андрович) Кромчеделов, дальний родственник Ходаковых по первой жене Василия Тимофеевича. Федор решительно шагнул к Кромчеделову и определенно ему поклонился... На этот раз не могло быть сомнения. Лицо Кромчеделова выразило такое *(на этом текст обрывается)*.

Х *

Федор не мог выносить долее этой нравственной пытки. Не дожидаясь конца панихиды, он тихо, но быстро отошел назад к двери, вышел в гостиную и потом, почти бегом миновав ее, хорошо знакомыми темными коридорчиками выбежал в сад.

Был март, деревья стояли голыми, кое-где только пушились первые почки, должно быть, верб; прошлогодняя трава торчала странно-бурыми пиками; дорожки еще не были посыпаны песком. Но, вдохнув свежий воздух, Федор сразу почувствовал успокоение.

Он медленно прошел всю аллею до беседки, стараясь решить, что делать: уехать? остаться? а если и мать с ужасом от него отшатнется? и при всем обществе?

Федор обернулся. Перед ним стояла Ирина: она подошла так тихо, что он не оглянулся.

Как ни был взволнован Федор, он увидел сразу, что Ирина бледна неестественно, синевато-молочной бледностью, с полукруглыми, точно нарисованными, подглазницами.

— Иночка, что с тобой?

— Да, я очень изменилась? Здравствуй, Фео, сядем. Мне надо много тебе сказать, и каждую минуту могут помешать.

— Постой: а ты не отвернешься от меня, как другие?

— Другие!

— Мне не подают руки. Меня не впустили в дом. Меня, кажется, считают убийцей отца.

Фео впервые выговорил все это вслух и старался говорить шутя, с улыбкой, но ему стало жутко даже от звуков своего голоса. Ина вдруг приподняла глаза, не удивившись на вопрос, и ответила торжественно, как обычно не говорят:

— Фео, я знаю, что ты не мог это сделать. Если б даже все стали тебя обвинять, я знала бы, что это неправда!

Еще раз Фео почувствовал словно хлест пощечины. Значит, об этом можно было говорить! Значит, это никак не шутка! Ина ставит себе в заслугу, что не поверила глупой клевете.

— Так об этом говорят, Ина?

Ирина молча кивнула головой.

— Кто? и сестра? и мать?

Опять наклонение головы: да...

— Тогда мне остается только уйти отсюда.

Фео не вполне сознавал, почему должно уйти, а не наоборот — объяснить: главное, хотелось скорей убежать, уйти от стыда. Ирина удержала.

— Выслушай сначала. Может быть, после не придется говорить.

Фео безвольно остался стоять. Ирина говорила. Она путалась, голос ее прерывался. Но она и Фео привыкли понимать друг друга с детских лет. Полунамека было достаточно. Перед Фео ярко вырисовывалось, что произошло вчера.

Федор встал и вышел из кабинета отца, когда отец стал на него кричать в одном из свойственных ему припадков ярости: «Вон! Чтоб духу твоего не было в доме! Прокляну!» Так кричать старику случалось и раньше, и Фео думал, что через $\frac{1}{2}$ часа отец успокоится. Не простившись, Фео прошел в переднюю, надел пальто <и> уехал.

Но отец на этот раз не успокоился. К нему вошли. Старик, побагровев, продолжал выкрикивать брань и вдруг упал. Думали, что с ним второй удар (первый был года полтора назад). Поднялась суматоха. Но старик скоро очнулся, и у него началась рвота. Первую минуту не догадались вызвать доктора, теперь бросились к телефону. Но, несколько придя в себя, старик требовал: «нотариуса», — требовал так настойчиво, повторяя одно слово, что решили исполнить его волю. Вызвался разыскать нотариуса дядя Гриша (?) *. Все потеряли голову, никто не мог ничего сообразить, и Ирина дала дяде Грише 25 рублей, чтобы тот взял лихача. Но дать этому человеку деньги значило наверное — направить его в трактир. Так и случилось. Дядя Гриша пропал, и нотариус так и не явился. Но через час (не раньше), наконец, приехал доктор, какой-то чужой, потому что никого из знакомых не оказалось дома. Доктор, довольно молодой человек, чрезвычайно не понравился старику, которому становилось все хуже и хуже. Ходаков не желал отвечать на вопросы доктора, гнал его и опять повторял: «нотариуса... завешание»: говорить свяно он уже не мог. Доктор прописал промывательное и рвотное, но ста-

* Знак вопроса — рукой Брюсова.

рик отказывался принимать лекарство и не допускал <1 нрзб> себя. Никто не смел оказать насилие над грозным Ходаковым. Время шло. Рвота усиливалась. Матрена О. (?) сама упала без чувств и пришлось хлопотать еще об ней. Одна Анна сохранила присутствие духа. Она несколько раз звонила по телефону брату, но Федора не было дома. Упорно звонила Анна и знакомым докторам. Наконец, только в 10 часов вечера приехал Б., старичок, которому Ходаков доверял. Доктор пришел в ужас, узнав, что до сих пор, в сущности, ничего не сделано. Старик к тому времени уж потерял сознание. Б-в выслал всех из комнаты больного и послал за другим доктором, который тоже вскоре приехал. Что делали с больным, Ирина не знает, но около 11 часов Б-в вышел в гостиную, очень бледный, и объявил, что его пригласили слишком поздно, что ничего уж сделать нельзя. Матрена О. (?), придя в себя, заголосила отчаянно и тотчас послала «за попом». Тогда и Ирине от волнения и потрясений сделалось дурно. Что было потом, она почти не знает. Ее отнесли к ней в комнату. Потом пришла туда Анна, очень бледная, но владеющая собой, и объявила, что отца отравили. Ирина спросила: «Кто же мог это сделать?» Анна ответила, медленно произнося слова: «Кто? Ты не понимаешь? Кому было нужно, чтобы отец умер?» Ирина все еще не понимала страшного намека. Тогда Анна сказала: «Яд был брошен в кофе, который отец пил вместе с Федором, а они были вдвоем в комнате».

— Я, — рассказывала Ирина, — в негодовании вскочила с кровати, я закричала не своим голосом: «Да понимаешь ли ты, что ты говоришь?» Анна мне ответила: «Вполне понимаю, * но ведь если это сделал не он, то или я, или ты, или мамаша: выбирать можно только из четырех». Я просто ум потеряла, что-то говорила, сама не знаю что, а Анна посмотрела на меня строго и вышла из комнаты. Потом я слышала, приказали тебя не допускать в дом, если ты вдруг придешь. Но я больше ни с кем не говорила, всю ночь не спала, и сегодня я — как безумная.

Ф(едор) выслушал этот рассказ, как выносят трудную операцию, сжав зубы. Он только спросил:

— И мамаша?

— Ах, Фео! Совсем ты не знаешь своей матери! Разве ж у нее есть свои мысли?

— Но ведь я ее сын!

— А Анна ее дочь, и теперь Матрена Тихоновна только и твердит: «Проклял его покойный, проклял! И я проклинаю материнским проклятием! Анафема!»

— Да ведь это же бред! — почти закричал Фео.

Ему (?) все еще не верил(ось), что в самом деле, с сегодняшнего дня он вдруг оказался подозреваем в убийстве, нет! в отцеубийстве! Вчера он был всеми уважаемый человек: сегодня — преступник. Хотелось закричать, как кричат дети, когда игра начинает пугать: «Не хочу больше играть!»

Ирина стояла перед Федором, по-прежнему бледная, как бывают бледны только привидения на сцене. Ф(едор), наконец, собрался с духом, чтобы расспросить ее, но тут Ирина остановила его, кивком головы указав на другой конец сада. Там стояли двое юношей и пристально смотрели на Ирину и Федора, однако не делая ни малейшей попытки подойти и поздороваться. Федор знал их: то был его троюродный брат **, Леонид Игоревич Кромчеделов и его два товарища ***, Рецкий и Лоботов.

* Далее зачеркнуто: а если ты не хочешь понимать, го, может быть, потому что заранее знала об этом плане

** Далее зачеркнуто: Игорь

*** Далее зачеркнуто: Ирецкий



И. А. БАКУЛИН, М. А. БРЮСОВА, Е. Я. БРЮСОВА — ДЯДЯ, МАТЬ и СЕСТРА ПИСАТЕЛЯ

Фотография, конец 1890-х годов

Библиотека СССР им. В. И. Ленина. Москва

— Пойдем во флигель, — непотом позвала Ирина, там никого нет и можно договорить.

Федор опять безвольно повиновался, и они быстро прошли по боковой дорожке во флигель.

XI

Леонид * покачал головой.

— Присутствие духа! Приехать на панихиду!

Рецкий переспросил:

— Ты серьезно думаешь, что *это* — он?..

— Кто же другой? Сочти. Некому.

— Но зачем было? Он и без того наследник всему.

— Во-первых, — время: старик мог легко прожить еще лет 10, а то и больше. Во-вторых, ты говоришь «наследник»; однако старик перед смертью спрашивал нотариуса, хотел, значит, изменить завещание.

— Все-таки не верю! Тогда не приехал бы сюда.

— Ты забываешь: отец! панихида по отце! Ведь он не дурак же. Не приехать значило бы сделать признание: мол, я.

— Но если это так явно, его арестуют, будут судить и он ничего не получит. Ты сам сказал: ведь не дурак же он: это-то мог сообразить.

— Арестуют? А доказательства? Надо полагать, он сумел чистенько срезать концы. Арестуют, поддержат и принуждены будут выпустить.

— А скандал? Ведь он будет скомпрометирован навсегда!

— Ми-илый! Десять миллионов! Золото оmyвает всякую грязь, и из золотой ванны выходят белыми, как вершина Девы! Кстати: заметил ты, что они ушли, едва мы стали смотреть на них?

* Было: Игорь

— Так что же?

— На языке прежнего времени это называлось термином «совесть».

— Ну это совсем вздор! Просто, кому охота, чтоб на него смотрели в упор. Кстати, кто эта девица с ним?

— Как ты не знаешь? Почти что сестра его. Есть Анечка, родная сестра, и есть Ирочка, полуродная сестра, бедная родственница, которая с детства воспитывалась с ними, с Аней и Федором.

— Они дружны?

Леонид * наклонился(?) к Рецкому и проговорил почти шепотом:

— Подозреваю, что не то что дружны, а проводят ночи на одной постели.

— Ну, послушай! — Рецкий искренне возмущился. — Ты же сам сказал, что она ему почти сестра.

— Тем пикантнее связь.

Игорь говорил все свои чудовищные обвинения с особой снисходительной улыбкой, которую тщательно заучил перед зеркалом и которой умел управлять в совершенстве. Рецкий был гораздо проще, и его еще корбило от цинизма друга. Чтобы перевести (?) разговор, Рецкий спросил:

— Что же твоя «тень»?

— А в <I нрзб>

«Тенью» на жаргоне друзей назывался их третий спутник, Лоботов, занимавший странное амплуа: полутоварища, полулакея. Игорь платил Лоботову 50 р. в месяц на том условии, чтобы он всегда сопровождал его и заносил в записную книжку все, что Игорь скажет интересного или остроумного. «Гениальные мысли соскальзывают с языка случайно. — объяснял Игорь, — и теряются (?), если их не подбирать». Лоботов, молчаливый юноша, гимназист, не кончивший курса, с необычайной покорностью переносил свое двусмысленное положение, участвовал во всех кутежах своего патрона-товарища (на его счет, разумеется), спал с ним в одной комнате, расставаясь только на те часы, когда Игорю приходила в голову мысль — зайти на лекции в Университет, ибо Игорь был еще студент.

Мановением руки, которое сам Игорь определил бы как «царственное», он сделал знак Лоботову подойти и взял у него карнет с записями. На последней странице было аккуратно записано: «Золото омывает всякую грязь, и из золотой ванны выходят белыми, как вершина девы».

— Видишь! — торжествующе показал Игорь, — я и сам не заметил этого афоризма. А ведь не дурно сказано, а?

Тут же Игорь взял у Лоботова карандаш и хотел сделать поправку, но остановился.

— Нет, не надо, — сказал он. — В сущности вы (он обратился к Лоботову) ошиблись: я имел в виду Деву-гору, т. е. Юнгфрау, а вы написали «дева» с маленькой буквы. Но... пусть так остается: «девы». Это пикантнее! «вершина девы», а? Это даже — что-то загадочное! Запишите еще один афоризм: «Иногда острота возникает из ошибки, красота из случайности, и истина из лжи».

XII

Газеты были переполнены сенсационным делом об отравлении миллионера Ходакова. Был период, когда писать было «не об чем», а если бы газеты и пытались писать об «чем-нибудь», то «чуткая цензура» быстро стесняла «в журнал<ных> выходк<ах> балагура». <На этом текст обрывается>

* Было: Игорь

* В невольном порыве он обнял ее и поцеловал, как бывало целовал в детстве. И именно в эту минуту, как то бывает в театре, на сцене, вошли мать и сестра Анна. Федор неловко отшатнулся и, все еще продолжая чувствовать по-детски, не знал, что делать. На мгновение он стал ребенком, которого старшие застали за шалостью.

Конечно, это чувство прошло тотчас и сразу мелькнула мысль, что настало время решительно выяснить положение. Федор пошел навстречу матери, говоря твердым голосом:

— Мамаша! Вы со мной и поздороваться не хотите! Неужели, мамаша, вы на одну минуту могли поверить глупым выдумкам разных негодяев? Разве вы меня забыли, разве не знаете, как я люблю отца!

Фраза была подготовлена, и Федор сам сознавал, что она прозвучала фальшиво. Но Матрена С. была ведь не из тех, кто способен разбираться в оттенках произношения. Федор рассчитывал на ее простой здравый смысл и материнское чувство.

Может быть, будь они наедине, все и произошло бы так, как Федор ожидал. Матрена остановилась в недоумении, колеблясь, что ответить. Она так привыкла повторять чужие слова, что всегда терялась, когда ей приходилось говорить самой за себя. И уж она начала:

— Да ведь, Федечка, вот тут говорят...

Но Анна стремительно заслонила мать. Высокая, стройная девушка, Анна приняла театральную властную осанку и, строго глядя на брата, отчетливо произнесла:

— Федор! Мать тебя любит. Мать тебе способна простить *все* (слово «все» было резко подчеркнуто). Но сам ты считаешь себя вправе пользоваться снисхождением матери, пока *это* подозрение над тобой тяготеет? Не должен ли ты сначала оправдаться перед всем миром, а потом уже прийти к матери?

Последнее время Федор и Анна, правда, были в ссоре. Но никогда Федор не ожидал, чтобы сестра могла принять такой тон в разговоре с ним. Это было что-то невероятное, несообразное. Федор сознавал, что в присутствии матери должен был бы говорить мягко, действовать на чувства старухи, но грубость сестры возбуждала в душе такое негодование, что сдерживаться не хватало сил. Все же, еще не повышая голоса, Федор возразил:

— Тебе не стыдно того, что ты говоришь, Анна? Ведь мы с тобой прожили всю жизнь вместе. Ведь не можешь ты в самом деле считать, что это я — принес какой-то яд, всыпал его в кофе отцу, отравил старика? Ведь это же последняя несообразность для каждого, кто меня знает!

Все продолжая смотреть в упор в глаза Федору, Анна раздельно произнесла:

— Да, я тебя знаю, Федор, — знаю. И я помню, чему ты меня учил, когда я была девочкой. Теперь, может быть, поздно, а я хорошо помню те твои рассуждения, — о кураре. И даже (Анна сделала паузу) у меня сохранилась одна твоя рукопись под названием «Право сильного». Ты ее помнишь?

Это был уже такой удар, от которого Федор сначала побледнел, потом покраснел багрово и потерял все самообладание. То, что называется «кровь бросилась ему в голову». Он почти закричал на сестру.

— Подлая! Ведь ты же знаешь, что это мальчишеские глупости! А ты мне что в те дни говорила? Помнишь твои мечты об том, чтобы продаваться на бульваре? А! Это ты забыла!

Минута — и произошла бы безобразная сцена, так как Федор, не видя другого способа доказать свою правоту, был готов схватить свою сестру за ворот и бить ее кулаком по <1 нрзб> лицу. Вмешалась Ира.

— Федя! Аня! Вы себя не помните! Разве ж так можно? После, после! Теперь разойдитесь. Федор, уходи! Уходи, я прошу тебя.

Анна тоже опомнилась и сказала матери, которая беспомощно смотрела на происходящее:

— Мама, пойдемте. Вы видите, ему ничего другого не осталось, как оскорблять нас.

Федор круто повернулся и в два шага был в передней. Ему не хотели <2 нрзб>. Ира, что-то повторяя ему вслед, кажется, догоняла его, но Федор сорвал с вешалки пальто и шляпу, не надевая их *, толчком ноги растворил выходную дверь и выскочил на двор, когда <4 нрзб> шептал, стоя в углу:

— Господи Иисусе, да он словно белены объелся.

У подъезда Федор постоял несколько мгновений, подумал, не вернуться ли, чтобы теперь, когда, кажется, все посторонние разъехались, пойти проститься с покойным отцом, но потом вздернул плечо, зашагал к калитке ** и через минуту уже ехал домой, закулив папиросу, хотя сердце продолжало биться от волнения.

Намек Анны относился к действительному факту. То было *** больше 10 лет тому назад, когда Федору было лет **** 15, а Анне ***** едва 13. В те годы до Федора дошли сочинения Ницше, и Федор весьма был под обаянием автора Заратустры, конечно, по-своему толкуя соблазнительные максимы. В те годы ***** брат и сестра были неразлучны: между ними существовала — не то что дружба, но нечто большее, какое-то единение юных душ. Они откровенно веряли друг другу все самые тайные свои помыслы. Доходило это до того предела, что когда Федор, 13 лет, поступил в гимназию и там от товарищей в скором времени узнал теорию полового вопроса, он, нимало не поколебавшись, поспешил поделиться дома своими новыми знаниями с сестрой ******, которая была почти на два года моложе его. И Ане это не показалось странным: ей нисколько не было стыдно слушать рискованные признания от мальчика, потому что этот мальчик был ее брат Федя; напротив, Анна, может быть, скорее постыдилась бы говорить о чем-либо подобном с Ирой или с другой девочкой. Все, что в следующие годы проходило через душу Федора, он тоже приносил сестре, и они просиживали целые часы в интимных беседах; сначала на эти странные беседы Ира не допускалась как «маленькая» (она была еще на 3 года моложе Ани, следовательно, на 5 лет моложе Федора), потом ей позволили присутствовать в стороне, так сказать «без права голоса», и лишь последний год, когда Федор уже кончил гимназию, Ира сделалась полноправным членом их «тройственного союза».

Не удивительно поэтому, что когда Федор подпал под власть Ницше, идеи Заратустры скоро стали известны и Анне. Федор теперь готов был целые часы, свободные от приготовления уроков, развивать перед сестрами теорию «сверхчеловека», «вечного возвращения» и пребывания «по ту сторону добра и зла». Анна, как всегда, слушала брата как оракула, каждое его слово считая святыми и нерушимыми истинами. Jugare in verba ma-

* Далее зачеркнуто: трясущимися руками

** Далее зачеркнуто: Извозчик Федора оставался последним у ворот; Федор успел принять спокойный вид, сел и распорядился ехать домой.

*** Далее зачеркнуто: около; десять; 15 тому лет

**** Далее зачеркнуто: 15; 14, а Ане лет 11; не было и 12; 11; 12

***** Далее зачеркнуто: не было и 14

** : *** Далее зачеркнуто: все трое, Федор, Анна и Ира

*** : *** Далее зачеркнуто: сестрами, которым было одной 11, а другой всего 9 лет

gistri * было столь для нее естественно, что когда Ирина, несмотря на свою молодость, первая осмелилась делать критические замечания, это привело Анну в некий ужас. Оспаривать Федора! Это было что-то вроде святотатства! Один раз Анна была так разгневана на Ирину, которая усомнилась в справедливости какого-то утверждения Федора, что схватила подвернувшуюся под руку маленькую кочергу и с размаха ударила свою подругу по спине. Ирочка упала без сознания. Конечно, это напугало Анну, она бросилась подымать Иру, приводить ее в чувство. Характерно для двух девочек, что Ира никому не сказала о происшедшем, хотя ушиб болел у нее после того несколько недель; а Анна, которая сначала заливалась слезами, каялась и на коленях умоляла «простить, *совсем* простить» ее, после только сильнее возненавидела Иру, к которой, в сущности, всегда таила скрытую злобу **.

Увлекаясь Ницше, Федор сам стал писать афористические сочинения в манере своего учителя. Эти первые опыты пера благоговейно собирала Анна, которая тщательно переписывала их в цветные тетрадки, каллиграфически выводя на первой странице: «сочинение Феодора Ходакова (Москва)», — ей почему-то особенно нравилось это добавление города, может быть, потому, что в немецких научных журналах приват-доценты мелких университетов часто *** ставили название города после подписи. Среди этих рукописных трактатов юного философа было одно, носившее заглавие: «Право сильного. Прологомены к суждению о природе всякого права». Федор Ходаков (Москва) доказывал там не слишком новую мысль, что не только практически право опирается на силу, что закон имеет смысл лишь потому, что <2 нрзб> придает полиция и армия, но что и теоретически, отвлеченно, идея права есть трансформация идеи силы. В трактате юный автор, видимо желая уподобиться дерзновенному Заратустре, приходил к ряду парадоксов, вроде того, что быть сильным всегда есть и быть правым, что слабый всегда неправ и т. д. Последовал вывод, что «кроме силы, нет иного права в мире. Желание становится правом, когда оно сопровождается возможностью его исполнить; желание есть преступление, если нет силы его осуществить. Грех есть бессилие, преступление есть отсутствие возможности. Достаточно желать и мочь, это и значит — быть правым. Если ты можешь, ты и имеешь право».

По поводу этого трактата между сестрой и братом был долгий разговор. Анна спросила, способен ли брат применить свои идеи в жизни. Конечно, неофит-ницшеанец, не задумываясь, ответил утвердительно. Да, он, Федор, будет жить так, как он мыслит; он будет видеть себя правым тогда, когда будет силен ****; «Если я буду чего-либо хотеть, — говорил Федор, — я спрошу себя: есть ли во мне, во-первых, внутренняя нравственная сила совершить это и, во-вторых, внешняя, физическая возможность это исполнить: если есть и то и другое, я буду считать себя вправе осуществить свое желание». — «А если, — спросила сестра, — твое желание будет такое, что это будет преступление? если ты, например (?), пожелаешь украсть или убить? Федор на такой вопрос рассердился и стал гневно выговаривать сестре, которая от этого вся засмущалась: «Значит, ты ничего не поняла в моем трактате! Какое-такое может быть *преступление*? Ты говоришь: убить. Если я чувствую, что не могу убить, что меня будет мучить угрызения совести, раскаяние и все такое, тогда да, убить будет преступление. И если я чувствую, что не в силах убить, т. е., ка-

* Слепо верить (лат.).

** Слово злобу описано над *незачеркнутым* словом ненависть

*** Далее *зачеркнуто*: подписывались: такой-то aus Heidelberg или aus Jena.

**** Далее *зачеркнуто*: иного права — нет в мире: достаточно *желать* и *мочь*, это и значит — не совершить преступления. Желание стан

пример, тот, кого я хочу убить, сильнее меня, не дастся, тогда мое желание будет преступлением. А если я знаю, что раскаиваться не буду, и знаю, что у меня хватит силы проломить такому-то череп, я имею на то право!» Но Аня все еще не понимала и спросила: «А если тебя будут судить?» Тут Федор не выдержал и самым откровенным образом выругался: «Дура! Если я боюсь суда, так я нравственно бессилён! Если я не умею увернуться от суда, значит я физически бессилён. В обоих случаях убийство — преступление. А если я суда не боюсь и если достаточно ловок, чтобы никто меня не мог уличить, я — прав». Разговор продолжался еще долго, и Федор, конечно, и забыл, что тогда он до последней крайности развивал эту свою теорию: убивать можно, только надо иметь крепкие нервы, сильные руки и сообразительную голову.

На этот именно трактат и намекнула Анна в последнем разговоре. Федор ответил другим намеком, который Анна должна была хорошо понять. Это был другой факт их юности, случившийся года на 2½ позже, чем обсуждение трактата о «праве сильного». Между братом и сестрой еще продолжали оставаться прежние отношения и они по-прежнему поверяли друг другу все самые интимные свои мысли. Анне шел уже 15-й год; она развилась рано и на вид казалась старше своего возраста: у нее уже была довольно развитая грудь, почти женские бедра, и она уже давно знала ежемесячное женское недомогание (о начале которого тоже не преминула сообщить брату, что, может быть, всего более доказывало их близость, ибо нет ничего другого в жизни, что девушка так стыдливо скрывала бы, как первое появление этих недомоганий). Тогда, «по пятнадцатому годку», как говорил(а) Васильевна (?), Анну уже волновали далеко не детские мечты. Рано ознакомившись с теорией страсти, она томила желанием ближе изведать запретный плод. И часто вечерние (?) беседы с братом были посвящены этой рискованной теме. Федор в то время уже не был новичком в «любви»: с товарищами он уже изведывал удовольствие продажных ласк «по 2 рубля за час». Анна, замирая и бледнея, расспрашивала брата, что именно он испытывал, и Федор, — настолько он привык говорить с Анной как с самим собой, — просто и откровенно рассказывал ей, как сделал бы это школьному товарищу. Вот в один из этих вечеров Анна и призналась брату, что ей соблазнительно хочется разыграть роль продающейся женщины: выйти на бульвар, позвать «пригласить» себя какому-нибудь прохожему, пойти с ним в гостиницу и там отдаться ему. Федор был уже достаточно опытен и умен, чтобы настойчиво отклонить сестру от ее безумного проекта. Доводы брата были столь несомненны, что Анна должна была отказаться от своих эксцентрических мечтаний и «покаялась» брату, что никогда не сделает этого опыта.

В горячке спора Федор бросил сестре, как парирующее обвинение, это напоминание. Но Федор понимал, что его удар был слабее. Сестра напомнила ему ту теорию, которая придавала какое-то вероятие низким обвинениям... А что же было в намеке Федора? Анна могла в конце концов ответить: «Ты сам, будучи старше меня на два года, развращал меня», — и будет в значительной степени права. Федору становилось все тяжелее и тяжелее на душе, по мере того как он приближался к дому. Хотелось скорее от всех спрятаться, броситься на кушетку, закрыть глаза и не думать ни об чем, позабыть события последних суток. *(На этом текст обрывается).*



ДОМ БРЮСОВЫХ

Москва. Цветной бульвар, дом № 24 (ныне — № 22)

Здесь Брюсов жил до сентября 1910 г.

Фотография, 1890-е годы

Библиотека СССР им. В. И. Ленина, Москва

* В каждой газете читались более или менее сенсационные заголовки: «Таинственное убийство миллионера», «Отравленный миллионер», даже «Преступление вокруг миллионов», и только «Русские ведомости», со своей обычной сдержанностью, удовольствовались заметкой в двадцать строк в отделе «Московские вести». Однако эта заметка содержала все существенное: **

К кончине В. Т. Ходакова. Кончина В. Т. Ходакова *** продолжает служить предметом оживленного обсуждения в кругах московских коммерсантов, среди которых покойный был хорошо знаком как владелец известной мануфактурной фабрики, больших магазинов в городе и других торговых предприятий. Как теперь выяснилось, смерть произошла при обстоятельствах, возбуждивших подозрения, так что по требованию судебных властей было произведено вскрытие тела, обнаружившее наличие сильно действующего яда. Остается неясным, имело ли здесь место преступление или несчастная случайность. Следствие поручено судебному следователю по особо важным делам, но пока по делу никто не арестован. Состояние В. Т. Ходакова и принадлежащую ему недвижимость оценивают в сумме до десяти миллионов рублей, причем главным наследником является единственный сын покойного, Федор Васильевич Ходаков, неизвестный в научных кругах Москвы своими докладами в ученых

* Фрагмент VII.

** Далее зачеркнута первоначальная редакция газетной заметки «Кончина В. Т. Ходакова», почти совпадающая с редакцией, вошедшей в дальнейший текст романа.

*** Далее зачеркнута: хорошо известного всей коммерческой Москве

обществах по вопросам астрономии. Покойный Василий Тимофеевич Ходаков скончался в преклонных годах, почти 73 лет от роду; он состоял церковным старостой своего прихода, почетным членом многих благотворительных обществ и неоднократно делал крупные пожертвования на дела благотворения.

На этой скромной канве бульварной прессой были расшиты самые причудливые узоры. Одна газетка не стесняясь намекала на подозрения, возникшие против Федора Васильевича, и один вечерний листок даже красноречиво рассказывал, как «преступник» приехал было на панихиду по отце, но не вынес вида своей «жертвы», побледнел так же, как лежащий в гробу мертвец, и «выбежал из дома». Другая газета, не менее развязная, рассказывала, что когда Федор явился на панихиду, его встретила мать, которая, глядя ему в лицо «горящими глазами», спросила повелительно: «Отвечай! Чувствуешь ли ты себя вправе здесь присутствовать?» — в ответ на что преступный сын не мог произнести ни слова и, потрясенный, немедленно покинул дом. Впрочем, в этой газете имена были заменены инициалами: Х. и Ф. В. Наконец, в третьей газете, уже совершенно «желтой», было прямо написано: «По слухам, которые мы еще не могли проверить, арестован, по подозрению в отцеубийстве, сын покойного». Но, чтобы лишить заметку характера клеветы, газета добавляла: «Мы хотим верить, что эти слухи ошибочны или что, по крайней мере, подозрения окажутся несправедливыми. Сердце отказывается верить, что у молодого человека не хватило терпения дожидаться естественного конца своего более чем 80-летнего отца!»

Федор читал эти заметки, и его охватывала дрожь ярости при таких наглых оскорблениях. С лихорадочным * волнением разворачивал он газетные листки, принесенные ему, торопливо ища соответствующие заголовки и читая новую гнусность, направленную против себя. Что нужно было сделать? Поехать немедленно в редакцию, пригрозить судом или личной расправой? Может быть, редакторы этих листков и смутятся, принесут свои извинения, дадут обещания не печатать бол^ьше ничего подобного, но все то, что напечатано, — уж прочтено всей Москвой! Да и противно было Федору лично разговаривать с людьми, которые печатно называют его убийцей. Поехать в полицию и там просить защиты от нападков прессы? Федор слишком уважал печать, чтобы унизиться до такого приема. Написать письмо в редакцию? Но что же сказать в этом письме? «Господа, я не убил» или «Пока не доказано, что я виноват, никто не имеет права меня обвинять»: все было одинаково грубо, не то отвратительно, не то смешно. Во всяком случае то, что напечатано, — уже напечатано, уж вся Москва прочтала это, и если завтра появится любое «опровержение», оно не сотрет впечатления сегодняшних заметок.

Подавленный волнением, Федор почти позабыл, что ему надо ехать на похороны. Это воспоминание обожгло его словно раскаленным железом. Нет! вмешаться в толпу, среди которой каждый прочел все гнусности, напечатанные в газетах? Идти за гробом, когда кругом будут шептаться: «Это Федор Васильевич, тот самый... а читали вы, как сегодня...»

Федор, кажется заскрежетал зубами, как дантовы грешники, при этой мысли. Нет! он не может, не в силах повторить вчерашнюю пытку в удесятеренной степени! Не может выставить себя на позорище перед всеми этими тупоумцами, толстосумами, увешанными бриллиантами купчихами, своими родственниками, близкими и далекими, праздными зеваками, которые стекутся на дешевое зрелище «богатых» похорон! Все они станут смаковать каждое слово газетных писак, даже зная, что напечатанное — ложь, будут злорадствовать тому, как ловко это «за-

* Далее зачеркнуто: порывом покупал он все вновь выходящие листки

корючено!» — «не хватило терпения дожидаться естественной кончины». Мать опять отвернется, сестра оскорбит, дядя не подадут руки, безграмотные купцы будут торжествовать: «Вот оно, ученье-то!», а футуризирующие племяннички презрительно заявят <?>: «Не сумел даже ловко вывернуться!» Нет! Этого вытерпеть нельзя: Федор не поедет.

Но что тогда скажут об его отсутствии на похоронах? Скажут, что угрызения совести не позволили ему присутствовать на похоронах того, кого он убил! Обрадовавшись безнаказанности своих первых заметок, фельетонисты распишут всё это в 10 раз подробнее. Каких риторических фраз не наговорят гг. сочинители трогательных газетных статей, к которым всем применимы стихи Грибоедова:

Когда ж о честности высокой говорит,
Каким-то демоном внушаем,
Глаза в крови, лицо горит...
И крепко на руку нечист.

Мысли Федора путались, и вдруг раздался звонок. Швейцарша, убравшая соседнюю комнату, пришла доложить: «Там вас господин спрашивает». На карточке стояло: «Гр-ский». Федор не без труда вспомнил, что это тот поляк, который первый сообщил ему, в Обществе любителей телескопов, о смерти отца.

Гр-ский вошел размашистой походкой, как входят в комнату лучшего друга, «с расprostертыми объятьями», так сказать.

— Дорогой Федор Васильевич! Здравствуйте! Как я рад, что застал вас еще дома! Я приехал предупредить вас (Гр. не совсем чисто говорил по-русски). Простите мою дружескую навязчивость. Но вы не должны поехать на похороны.

Минуту до того Федор сам пришел к такому же выводу, но вмешательство постороннего заставило тотчас возразить резко, едва пожимая руку гостю:

— Извините, собственно почему вы считаете себя... призванным давать мне такие советы?

Гр. обладал неисчерпаемым благодушием, которое не могли поколебать никакие резкости.

— Дорогой Федор Васильевич! Я понимаю, в каком вы состоянии! Я читал все это (жест в сторону вороха газетных листов), но сейчас вы должны довериться дружескому принуждению. Мы встречались мало, но, верьте, я, в душе, всегда вас глубоко чтил. Да мы ведь не были обыкновенными знакомыми, я вас выделял из ряда друзей...

Гр. тараторил быстро, с той скоростью произнося слова, как то умеют делать лишь французы и иногда поляки. Из речи оказывалось, что Гр. «в душе» всегда признавал Федора своим лучшим другом, то есть, о! не — другом, он, разумеется, не имеет права притязать на такое высокое имя, но все же как бы другом, и потом, в трагический момент, как сейчас, что права дружбы, и т. д. и т. д.

Федор слушал не без брезгливого чувства, но он был бессилен перед этим потоком быстро льющейся речи, похожей на какой-то кисель, который быстро обволакивал душу, залепляя все мысли и заглушая сознание.

— Ведь вы могли же заболеть, — не останавливаясь убеждал Гр., — да и в самом деле у вас очень больной вид. Мы сейчас телефонируем на дом, что вы лежите в постели и извиняетесь <?>. Мы даже доктора можем пригласить. Потому что, видите, вы никак не должны поехать.

Федор был по характеру упрям и способен на взрыв ярости. Но сейчас им овладело какое-то оцепенение, также ему свойственное, странное

безволие апатии. Он без возражений смотрел, как Гр. распоряжался в его квартире, звонил по телефону, извещал кого-то о внезапной болезни Федора, что-то приказывал швейцарше, распорядился даже, чтобы вскипятили несколько порций кофе. Только время от времени Федор вставлял всего два-три слова:

— Будьте любезны, в это дело не вмешивайтесь...

— Хорошо, хорошо! — успокаивал Гр. словно * капризничающего ребенка, — все будет по-вашему. Я только скажу одно слово. Барышня! № 5-12-47. Мерси. Алло? Дом Ходаковых?

И продолжал скользить по комнатам, распоряжаясь, как хозяин или доктор в доме тяжело больного.

Федор чувствовал такой упадок сил, что лег на кушетку; иногда ему казалось, что он теряет сознание. Смерть отца, чудовищное обвинение в убийстве, ночной приход Иры, посылка Генриеттой утренних газет, — все это сломило его душу. В это мгновение Федору было всё всё равно, всё безразлично, хотелось одного, чтобы его оставили в покое. Но именно этого не хотел Гр-ий.

Когда кофе был вскоре (?) подан, поляк придвинул кресло к кушетке, сел рядом с Федором и, глотая горячий напиток, заговорил.

— Теперь, дорогой мой, будем разговаривать серьезно. Это ж <1 нрзб>. Вы — человек неопытный в делах, вы не понимаете человеческой низости. Я, к сожалению, с ней хорошо знакомлен. Я вам все объясню. Вы думаете, эти статьи написаны случайно? Нет, дорогой мой, они инспирированы и оплачены. Вот за эту (он взял в руки один листок) заплачено двести рублей, мне это доподлинно известно. А эта (в руках поляка оказалась другая газета) стоила только угощения в Метрополе. Наконец, эта (то была заметка «по слухам») была только подписана одним сотрудником, а писал ее знаете кто? Я вам скажу. Ее писал Леонид Игоревич Кромчелов.

Федор буквально привскочил. Это имя прорезало муть его сознания, как луч прожектора.

— Леонид? Зачем?

— Вы видите, дорогой мой, как вы неопытны! Кто наследник после вашего покойного батюшки? Я предполагаю, что завещания не имеется, ведь так?

— Вероятно, нет...

— Так вот. Во-первых: вы и ваша сестрица, та в $\frac{1}{7}$ доли. Потом ваша мамаша, в $\frac{1}{14}$ доли. Потом еще кто? — дальние родственники. Какие? Потомки дядюшки вашего Прова Тимофеевича, тетушки вашей Марьи Тимофеевны и по известному желанию вашего батюшки — господин Кромчелов. Ясно? Как же, однако, проложить путь к наследству при существовании такого бесспорного наследника, как вы? Надобно его, этого бесспорного, устранить. Возникает гениальная идея. Устроить газетную травлю. Сегодня на похоронах вас ждали бы оскорбления всякого рода. Вы человек благородный, о! я вас знаю! Вы — высоко благородный человек. Что же вы делаете? Вы — так рассуждают эти господа — подавлены всеми этими обвинениями; вы хотите во что бы то ни стало доказать, что гнусные обвинения — ложь! Как вы можете этого достигнуть? Отказавшись от наследства. Вы этим как бы скажете: вы меня обвиняете, что я совершил преступление потому, что отец намеревался лишить меня наследства. А я от наследства отказываюсь. Это будет благородный жест, но, дорогой мой, простите меня, — жест неразумный! Ох, какой неразумный!

Федор слушал слова поляка, как сказку. Слабым голосом он спросил:

* Далее зачеркнуто: больного или

— А Аня?

— Ваша сестра? А вы не обратили внимания, как она относится к вам эти дни? Заметили? Поверьте, ей тоже полный расчет, чтобы вы отказались от своей доли.

Федор хотел рассердиться.

— Послушайте! Вы клевете на мою сестру.

— Не волнуйтесь, дорогой Федор Васильевич! Я ничего не утверждаю. Но сопоставьте сами факты. Я вам честью клянусь, что все эти газетные статьи инспирированы. Теперь припомните поведение Анны Васильевны. Она влияет (?) на вашу матушку; она внушает ей не впускать вас в дом; она отдает приказани(е) старым слугам...

Федор сел на кушетке, <2 нрзб>, произнес тоном, завершающим круг раздумий:

— Или вы сейчас говорите такую ложь, которую нет даже слов достойно определить, или все это — такая гнусность, которой я даже не мог вообразить.

— Вот именно! вот именно! — обрадовался поляк, — или то, или другое. Или я — гнусный клеветник и <вы> в праве (?) избить меня хлыстом, убить, как собаку; или я — ваш искренний друг, открывающий вам глаза на чудовищный заговор, затеянный против вас.

Федор опять лег, закрыл глаза и погрузился в свою апатию

Гр. был в восторге; он достиг своей цели. Сидя около Федора, он успокаивающим, убаюкивающим голосом продолжал свои объяснения, мешая факты, и не <4 нрзб> своей богатой фантазии, перемешивая правду и вымысел, опутывая Федора какой-то сетью низких подозрений и намеков...

ПОД СТЕКЛЯННЫМ ШАРОМ *

Записки наблюдателя жизни

(Нравы предреволюционной поры)

I

5 сентября 1913 года

Эту новую — уже которую! — тетрадь своего дневника начинаю сообщением, говоря условно, «печальным»: сегодня, накануне того дня, когда мне исполняется сорок шесть лет (как женщины, я признаюсь в своих годах лишь на этих интимных страницах), умер, как мы его называем, «наш дедушка», — точнее: двоюродный дед моей жены, Василий Тимофеевич Ходаков. Лет 15, даже 10 тому назад, когда я еще мог ждать, что и на нашу долю достанется что-нибудь из ходаковских миллионов, это известие произвело бы на меня сильное впечатление; но я уже давно примирился с мыслью, что из этого наследства мы не получим ни копейки, — в лучшем случае, по завещанию (если оно существует), «на добрую память» пару старых и плохих литографий, висящих в гостиной Таганского дома. Поэтому сообщение о смерти старика я принял совершенно без волнения, — выразил ровно столько участия, сколько требовалось приличием. Но Василий Тимофеевич Ходаков — слишком видная фигура в московском коммерческом мире, и в клубе (где я и узнал о смерти) все только об нем сегодня и говорили. Молва, как всегда, преувеличивала его состояние: насчитывали что-то до двенадцати миллионов, но я знаю, что это — неверно. Наличными деньгами у старика вряд ли было много больше *трех* миллионов рублей (помню, он сам говорил с гордостью: «оставлю по миллиону сыну, дочери и жене»), фабрика стоит приблизительно столько же

* Фрагмент IX

(но, при спешной ликвидации, не удастся выручить и половины), дом на Таганке — тысяч двести, если не меньше, дача в Сокольниках — едва ли тысяч пятьдесят: вот и все, — не набралось и 7 миллионов, вместо 12. Хотя, разумеется, и этого достаточно для человека, начавшего с того, что он был подмастерьем у портного и получал «жалованья» три рубля в месяц да хозяйский «харч»!

Видеман, который всегда все знает (он и принес известие в клуб), уверял, что кончина старика — загадочна. Возникли, будто бы, подозрения в отравлении. Когда я подошел к группе, обсуждавшей этот вопрос, все замолчали, так как меня считают родственником, и я ничего не узнал. Думаю, что эти предположения — вздор. Когда умирает видный человек, всегда начинают искать какую-нибудь особенную причину, ибо людей выдающихся (все равно чем: талантами, властью, богатством) окружающие привыкают считать бессмертными. Когда скончался Август, на 76 году жизни, стали уверять, что его отравила Ливия. Василию Тимофеевичу было 73 года: возраст, в котором естественно умереть и без отравы. Но личностям, вроде Видемана, всегда нужны новости сенсационные: это — атмосфера, которой они дышат и без которой чахнут. Если нет сенсации подлинной, они не задумаются «домыслить».

Вернувшись домой, хотел сообщить жене о смерти ее двоюродного деда, но она уже знала: ее известили по телефону. Я постарался рассеять у нее последние иллюзии относительно возможности получить наследство. Чтобы меньше было разочарования. Но — пора спать. До скорого свидания, новая тетрадь!

II

6 сентября, утро

Должно быть, смерть Ходакова станет злобой дня. В наше безвременье, в эту эпоху смертвення всех элементов жизни, которую мы переживаем после вспышки 905—906 года, рады бывают любому происшествию чуть-чуть выходящему из ряда, чтобы превратить его в событие, — все равно, большому пожару, скандалу на заседании, ловкому мошенничеству: все-таки в дни, когда говорить и писать не об чем! Поэтому сегодня все газеты посвятили статьи «видному представителю коммерческой Москвы, известному благотворителю» и тому подобное. Одна даже успела за ночь достать и напечатать портрет, впрочем, столь же похожий на «почетного гражданина В. Т. Ходакова», сколько на любого старика с бородой: я никогда не видал такой фотографии у Василия Тимофеевича (он и снимался-то, кажется, раз или два раза в жизни, почитая фотографию таким же «бесовским наваждением», как новейший кинематограф), так что газетный портрет, вероятно, — вольное «сочинение» развязного репортера.

Но вот что плохо. Во всех газетах повторено, что кончина Василия Тимофеевича признана неестественной, что приглашенный доктор (надо узнать, кто именно) заподозрил отравление, что будет следствие и вскрытие. Кстати: в какой же ужас пришла добрейшая Матрена Тихоновна и с нею весь синклит ходаковских приживалок, когда стало известно, что покойника будут «резать»! И как она могла на это согласиться? Очевидно, потребовали не на шутку! И, наконец, самое плохое. В одной бульварной газетке это сообщение изложено буквально так: «В этот день у В. Т. Ходакова обедал его сын, Сергей Васильевич, который живет отдельно. После обеда отец и сын удалились в кабинет, куда им подали кофе. Говорят, что между ними произошло там довольно бурное объяснение, после чего Сергей Васильевич немедленно уехал, а Василий Тимофеевич почувствовал себя дурно, вскоре потерял сознание и, несмотря на усилия немедленно приглашенных врачей, скончался не приходя в себя. Предпо-



БРЮСОВ

С рисунка С. А. Виноградова. 30 апреля 1916 г.

«Известия Московского литературно-художественного кружка»,
вып. 14—15, сентябрь — октябрь 1916 г.

лагают, что имело место отравление. Следствие энергично ведется». — Ведь подобная заметка чуть ли прямо не обвиняет Сережу в отцеубийстве! Черт знает что такое! Печатать фантастические портреты — еще куда-сюда, но намекать, что человек совершил тягчайшее уголовное преступление, это — выходит за пределы!

Звонил к Ходаковым по телефону, но старый Онисим ответил мне, что все потеряли головы, а барышня, т. е. Анюта, «с горя больны-с, лежат-с».

Еду с женой на панихиду, назначенную в 12,— на месте узнаю все подробности. А ведь сегодня день моего рождения, но — «молчание!», как говорит гоголевский герой.

В тот же день, вечером

По случаю неожиданного траура, у нас приказано посетителям отказывать. Жена лежит, уверяет, что у нее — мигрень. Я рад свободе: могу на досуге беседовать сам с собой в этой тетради. А записать есть что.

Странное овладело мною чувство, когда мы подъехали к Таганскому дому Ходаковых, где последнее время я бывал ровно два раза в году: на рождество и на пасху, выполняя традиционный обряд поздравления. Мне почти стало казаться, что там, в Таганке, и не бывает ничего иного: всегда по-праздничному убранные «парадные» комнаты (куда обычно никто не заглядывает), огромный стол, уставленный всевозможными яствами и разноцветными бутылками, толпа поздравителей, лиц, с которыми встречаешься тоже два раза в году, и среди них непременно какие-то «батюшки» и «ваши преподобия». Сегодня дом имел иной вид, хотя и остался по-прежнему выходцем с другого света, одним из самых последних обломков купеческой Москвы Островского. У ворот, как в праздник, множество автомобилей, карет, колясок и щегольских пролеток; в «большой передней» — груды сложенных пальто, которым уже не достало места на вешалках; но в зале, вместо стола с закусками — стол, покрытый чем-то черным и белым, на котором простерто тело Василия Тимофеевича: буквально, как у Державина: «где стол был яств...» Явившихся на первую панихиду было так много, что трудно было протиснуться через толпу.

Мы хотели было пройти к Матрене Тихоновне или к Анюте, но Онисим, который внезапно принял чрезвычайно важный вид и стал распоряжаться как какой-то мажордом, решительно отказался «докладывать». — «Очень они расстроены-с, и барыня и барышня, не приказали никого до себя допускать, без исключений-с!» — так он нам объяснил. Мы узнали только, что вскрытие тела утром было и что, по всему, хотя доктора и «скрывают-с», яд, действительно, обнаружен.

Жена пошла к дамам, а я пожимал руки направо и налево и, что называется, «перекидывался словом» то с тем, то с другим. В сборе была * вся бесчисленная родня Ходаковых **, старые и молодые, мужчины и женщины, люди всех возрастов, всех положений в обществе и всех состояний. Был здесь почтеннейший Капитон Кондратьевич Клушин, как всегда *** степенно са́модовольный; был мрачный и словно подмигивающий Кузьма Трофимович Подсалазкин, купец еще старой складки, а рядом Игорь Александрович Кромчеделов, самоуверенный, «англизованный», с женой Варварой Трофимовной, уже одетой в новосшитый траурный «тайер», и с сыном, полуфутуристом Леонидом (около которого его alter ego — «знаменитый поэт» Лягушинский) ****; была вся семья Кумачниковых, отец, мать и две дочки-неразлучницы, Мотря и Феня; в сторонке жалась «бедная родственница» Вера Алексеевна Грамоткина, а Георгий Владимирович Лихов, напротив, как будто выставлял напоказ свой потертый сюртук и починенные штиблеты, — но всех не перечислишь! Кроме родственников, были здесь все приживальщики и приживальщицы ходаковского дома и его постоянные посетители «с черного хода»: дядя Петя», «тетушка Улья-

* Далее зачеркнуто: все бесчисленное потомство

** Далее зачеркнуто. и Клушиных

*** Далее зачеркнуто: торжественно

**** Далее зачеркнуто: В сторонке жалась «бедная родственница» Ирина Ильинишна Твердая, а Георгий Владимирович

на», «мать Серафима» и другие, даже «странник Феодор»; были — соседи и знакомые по «городу» и по «приходу», кто — одетый по последней моде, с видом «неоцианта» из лондонского Сити и с пробором английского денди, кто — в длиннополом сюртуке, с оттенком «мы — по старой вере» и с волосами, расчесанными на двое; были, наконец, и совсем никому незнакомые, если только удавалось проскользнуть мимо бдительного надзора Онисима, который время от времени строго приказывал Петру, исполнявшему роль швейцара: «Этого гони: шантрапа!» В зале скучивались черные костюмы мужчин, атласные рясы батюшек, крепы дамских шляп и какие-то фантастические одеяния старозаветных купчих, с кружевными наколками на головах... Кроме дам, все стояли, ожидая хозяйку, и разговор-вполголоса был похож на жужжание роя пчел.

Замечательно, что в зале не было никого, кто мог бы играть роль хозяина. Ни Матрена Тихоновна, ни Аня не показывались; не появлялась даже Ирипочка (очевидно, она оставалась при Аняте). Но всего поразительнее, что не было Сергея. Меня это тревожило, тем более что, когда я решился назвать его имя, мои собеседники посмотрели на меня как-то странно. Не было сомнения, что газетная клевета сделала свое дело и бросила свои семена в души, падкие до всяких скандалов*.

Зато я узнал подробности о смерти Василия Тимофеевича: рассказал мне Подсалазкин, откуда их узнал он, я не мог дознаться: «Сказывали мне», — вот всё, что он мне ответил.

По словам Подсалазкина, Сергей действительно вчера обедал у отца. Последнее время их отношения еще ухудшились, поэтому от этого обеда ожидалось многое: думали, что состоится примирение между отцом и сыном (кто думал? Должно быть Анята и Матрена Тихоновна, — я точно записываю рассказ Подсалазкина, только изменив его намеренно неправильные. «простые» — «мы говорим по-простецки» — обороты речи). Обед прошел «ни так ни сяк»: столкновений не было, но Василий Тимофеевич несколько раз брови хмурил. (Рассказ весь был пересыпан такими мелочами, словно этот Подсалазкин сидел под столом и все наблюдал сам.) После обеда Сергей попросил у отца позволения переговорить с ним наедине. Пошли в кабинет к Василию Тимофеевичу: туда им подали *и кофе* (у Ходаковых после обеда подавалось кофе: одно из новшеств, бог весть почему принятых Василием Тимофеевичем, — «для желудка полезительное», объяснял он сам). Об чем разговаривали отец с сыном в кабинете, неизвестно, но было слышно (опять: кто слышал?), что голоса повышались: разговор явно шел крупный. Вдруг из кабинета послышался прямо крик. Семейные в испуге бросились к дверям, не смея, однако, войти, ибо перед «самим» все, не исключая Аняты, трепетали. Но дверь распахнулась, появился Сергей, очень бледный, посмотрел вокруг на всех, не сказал ни слова и побежал («рассказывают, что именно бегом побежал», — подчеркнул Подсалазкин) в переднюю; там Сергей спешно накинул на себя пальто и вышел, ушел совсем. Между тем Анята и Матрена Тихоновна осмелились войти в кабинет. Василий Тимофеевич был не бледен, а красен, в

* Далее зачеркнуто: Раздосадованный, я подошел к Подсалазкину и прямо спросил его:

— Вы не знаете, что Сергей Васильевич здесь?

Хитрый купец пристально посмотрел на меня и потом произнес осторожно:

— Я так рассуждаю, что оно, пожалуй, Сергею Васильевичу не совсем, может быть, удобно сейчас пожаловать. Оно, конечно, его батюшка скончался, и он, значит, выходит — глава всему, так сказать, — первый наследник и хозяин. А только по поводу этих самых слухов как будто выходит и неладно.

Подсалазкин нарочно коверкает свою речь на гостинодворский лад, тогда как может говорить совершенно правильно. Я решился возразить: — Неужели вздорные газетные сплетни могут иметь какое-нибудь значение?

Подсалазкин опять

раздражении крайнем, стучал кулаком по столу и повторял: «Прокляну! Лишу наследства! Всего лишу!» Увидя жену и дочь, Ходаков стал требовать, чтобы немедленно послали за нотариусом, чтобы составить новое завещание, лишаящее сына наследства. Так как это было не в первый раз, и прежде случалось, что после ссоры с сыном Ходаков начинал требовать нотариуса: «Сейчас, сию минуту, чтобы здесь был!» — то особого внимания на приказание не обратили. Дочь и жена стали успокаивать Ходакова, объясняли ему, что уже поздно, что нотариуса пригласят завтра, хотели уложить старика на диван и поставить ему горчичник (почему-то это был традиционный способ укрощать припадки ходаковского гнева). Но пока возились около старика, ему вдруг сделалось дурно, он зашатался и повалился в кресло без сознания. Всем присутствующим (а здесь были еще Ириночка и Онисим) тотчас пришла одна мысль в голову: удар! Побежали не за нотариусом, а за доктором; стали звонить по телефону ко всем соседним врачам. Ходаков между тем оставался без чувств; его перенесли на кровать и раздели. Первый доктор — какой-то Зайчиков — приехал не раньше, как через полчаса: он положил компресс на голову Ходакова и велел растирать ему тело. Это не помогало: старик не приходил в себя. Позже приехал доктор Свирляков, который всегда лечил Ходакова, но тоже ничего не мог сделать, чтобы привести старика в сознание. Всего, наконец, собралось пять врачей: целый консилиум. Старик хрипел, чуть-чуть приоткрывал глаза, смотрел мутным, бессознательным взором, но не шевелил ни одним членом, словно был парализован. Так Василий Тимофеевич и умер, часа через три после беседы с сыном и после *чашки кофе*, выпитой в его присутствии. Кто первый высказал предположение об отравлении, неизвестно; во всяком случае, несмотря на протесты Матрены Тихоновны, которая все это время «выла» и «ревмя редела», были опечатаны чашки с остатками кофе, назначено на утро вскрытие и сделано заявление судебным властям. Сегодня утром вскрытие состоялось, но результаты его держатся пока в тайне.

Рассказ Подсалазкина я выслушал с понятным волнением, но оспаривать его намеков не стал. Да и не было времени, потому что прибыли священники — служить панихиду: приходской и приглашенный из Донского монастыря, где покойный передко бывал. Одновременно появились в зале — Матрена Тихоновна, Анюта и Ириночка. Я едва успел с ними поздороваться, не мог сказать ни слова, но заметил, что Анюточка бледна необычайно, «как мел» или «как бумага», даже неестественно. Какой-то толстый господин, во фраке, с полным лицом и маленькими, словно наклеенными усиками — тип метрд'отеля из хорошего ресторана, стал «оправлять» покойного, вновь перекладывать венки, которых набралось уже немало, менять мешки со льдом и тому подобное, а батюшки начали готовиться к служению. Все мы, приехавшие «отдать последний долг», выстроились было, как на смотр, но тут произошло событие неожиданное и на меня произведшее впечатление поистине трагическое. Именно: вдруг появился Сергей Васильевич.

Я не заметил, как Сергей вошел в залу, но, случайно обернувшись, вдруг увидел его стоящим у окна; он был тоже очень бледен, почти как сестра. Я хотел было подойти к Сергею, чтобы поздороваться, как вдруг увидел такую сцену. Неподалеку от Сергея стояла, в своем безукоризненном траурном тайере, Варвара Трофимовна Кромчеделова. Сергей, по видимому невольно, по привычке воспитанного человека, шагнул к ней, поклонился и почти готов был поднять руку, чтобы пожать ту, которая протянется к нему. Должно быть, Сергей вошел только что и еще не успел ни с кем поздороваться и в тесноте не мог рассмотреть, где сестра и мать. И вот, — все это произошло в одно мгновение, — вдруг для меня и, конечно, для Сергея стало ясно, что Варвара Трофимовна ему *руки не подает*.

Почему это стало так несомненно, я даже не сумею объяснить: Варвара Трофимовна не сделала никакого резкого жеста, не отвела, например, руки в сторону, даже наклонила немного голову, отвечая поклоном на поклон, но всё же нельзя было сомневаться, по всей ее фигуре, по выражению глаз, что Сергей, если первый протянет руку, останется так — с рукой, «повисшей в воздухе». Я видел, что Сергей побледнел еще более, если то было возможно, как-то замер и вдруг резко отвернулся, должно быть, хотел скрыть свое потрясение. Повторяю: этот краткий миг мне показался — трагическим. Я невольно задержал свой шаг, чтобы дать Сергею время оправиться, но в ту же минуту раздался голос батюшки: панихида началась.

СТЕКЛЯННЫЙ СТОЛП *

Часть первая

Глава I

Стояло безвременье, эпоха между двумя войнами и двумя революциями, тягостное десятилетие от седьмого до семнадцатого года, и именно его вторая, самая тяжкая (?) половина. Столыпина уже не было, но столыпинский дух еще был силен; общественные движения подавлены, лучшие надежды обесценены, воспоминания недавнего прошлого ** звучали далекой легендой. Прокатились и разошлись грязной пеной волны порнографии и пинкертоновщины, лиг любви и клубов самоубийц. Казалось: впереди ничего нет и ничего быть не может — тусклая беспросветная мгла, гнилой туман, в котором все свету как бы гасли, все контуры сливались в общее пятно. И этот туман медленно, но властно окутывал всю Россию, столицы и провинции, верхи общества и самый народ ***. Не во что было верить, нечего ждать и не хотелось ни думать, ни действовать, ни бороться, — жить день за днем, отдаваясь течению...

В эти дни, в этой тусклой мгле, самыми яркими огнями, которые одни преодолевали сырой сумрак, горели только фонари ресторанов, игорных притонов да публичных домов, все равно — роскошных или нищенских. К подъездам торжественных «отелей», с громкими названиями «Империял», «Интернациональ», «Метрополь», подкатывали вереницы авто; в скромные трактиры — «Москва», «Лондон» или «Ливорно», — вваливались уже пьяные чуйки и поношенные пальто; в кафе-шантанах этауали блистали со сцен татовскими и даже настоящими бриллиантами в ожидании шампанского и устриц, а в жалких «заведениях» пьяные Дины и Маруси хриплыми голосами выпрашивали пару пива; в изысканных салонах, содержатели которых наживали тысячи в сутки, проигрывались целые состояния и на карту шути ставилось сто тысяч, а в задней комнате подозрительной пивной полуграмотные шулера обыгрывали в подержанные карты пьяного чиновника на двенадцать целковых... Но разница была только в обстановке, во внешнем: содержание, душа были везде одинаковы: то был всероссийский гашиш, который, ценой **** здоровья, состояния, а часто и жизни, давал обывателю похмельное забвение от мучительной действительности. «Играй, гармошка! Дашка, пляши!», «Кэк-уок амэри-кэн! <1 нрзб> брот!», «В банке сто сорок тысяч, даю!», «Раздевайтесь, девочки, все: плачу!», «Братцы, он девятку из рукава вытянул! Бей мер-

* Фрагмент X. Первоначальное заглавие: *Стеклянная башня — зачеркнуто.*

** Далее зачеркнуто: казались

*** Далее зачеркнуто: Не хотелось

**** Далее зачеркнуто: головной боли

те же ступени, отдавать шубу тем же швейцарам и садиться за те же столы, нередко даже не замечая, что дощечка на двери переменена и что они *, формально, сегодня находятся совершенно в другом учреждении, нежели вчера...

Около года назад ** электрическая дыня над подъездом с кариатидами освещала свежееотполированную медную доску со словами: «Инженерно-технический кружок». Потом, внезапно, двери подъезда оказались заперты и доска исчезла, но всего через несколько дней дыня опять засветилась, чтобы освещать черную <на этом текст обрывается>

ПРИЛОЖЕНИЕ

<План романа>

Стекланный столп

1-й вариант

Гл. I. Клуб

II. —» — Разговоры о смерти Вас<илия> Тимоф<еевича> Ходакова

[Типы:] Алексинский (1/2 Зейдемана)

[Сугрузов] директор

Ливерный

Сугрузов (1/2 прияте<ля>)

III. У Ходакова-сына Фео-дора Вас<ильевича>

III. У Медведникова(=Гиршм<ану>)

[Типы:] сам Медв<дников> и кучер

мол<одая> жена: Гликерия Павл<овна> (1/2 Генр<нетты>)

IV. О<бщество>во [акв] люб<ителей> телескопов.

[Ти<пы>:] [Ходаков jun<ior>]

Рысин, внуч<атый> плем<янин> Ходакова, и его «тень»

[Су] Кремлев осведомляет Х<одакова> — Ходаков

V. Фео заезжает домой. Швейцар.

VI. Дом Ходаковых. Две партии.

I. 1. В. Т. Ходаков

2. Матрена Тихоновна,
его жена

3. Тетя Феня

4. Дядя Костя

5. Лукерья Ниловна
(приживалка)

6. Серафимочка
(странница)

II. (Фео)

Ани Анна Вас<ильевна>,
его сестра

Дети В. Т.
и М. Т. Хо-
даковых

[Вера]

[Груша(Аграф<ена> Ни-
к<олаевна>Сахарова)]

[замужем,
дв<ояродная>
сестра]

[Вера (Ник<олаевна>Сахарова)]

[Груша]

Вера (Никол<аевна> [Зи-
н<аида> Ник<олаев-
на> Сохатая] Слон-
ская, ур<ожденная>
Сахарова)

дочери Марфы
Тим<офеевны>,
сестры В. Т.

Груша (Агр<афена> Ник<о-
лаевна> Сахарова)

Дунечка (Авд<отья> Серг<еевна> Милицы-
на), подруга Груши

M-lle Blanche (la Fayette), пожилая гувер-
нантка

VII Панихида. Сохатая (Олимпиада Григ<орьевна>)

В саду: Фео и Ани

VIII. Допрос у следователя

IX. Газетные известия. Вскрытие. Завещание.

* Далее зачеркнуто: в сущности

* Было: Месяца три назад

*2-й вариант***Глава 1. Убийство**

2. Панихида
3. Свид(ание) бр(ата) и сестр(ы)
4. Тюрьма
5. Завеща(ние)
- 6.

*3-й вариант***Глава I.**

1. Клуб
2. Разгов(ор) в клубе
3. У[Ход(акова)] Фео
4. У Медведни(ко)ва
5. О(бщество) Люб(ителей) т(елескопов)
6. Швейцар Х(одаковы)х

Глава II.

1. Дом Х(одаковы)х
2. Панихида
3. Фео и Ани
4. Леонид и (его друг) Вадим
5. Допрос

Глава III

1. Анна
2. Жизнь в доме